

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ  
НАУК

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ  
№ \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

# СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

**3**  
**1992**



• НАУКА •

# Славяноведение

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

МАЙ – ИЮНЬ

3

1992

ЖУРНАЛ  
ОСНОВАН  
В ЯНВАРЕ  
1965 г.

МОСКВА  
«НАУКА»

## СОДЕРЖАНИЕ

Театр и театральность (Круглый стол) . . . . . 3

### СТАТЬИ

<i>Гибианский Л. Я.</i> К истории советско-югославского конфликта 1948–1953 гг. Секретная советско-югославо-болгарская встреча в Москве 10 февраля 1948 года . . . . .	35
<i>Терехов В. П.</i> Политика Чехословацкой национально-социалистической партии на начальном этапе национально-демократической революции (май 1945 г. – май 1946 г.) . . . . .	52
<i>Коссек Н. В.</i> Об «описках» древних переписчиков Евангелий . . . . .	64
Материалы к практическому учебнику церковнославянского языка . . . . .	71
<i>Толстой Н. И.</i> К выходу в свет новых уроков по церковнославянскому языку . . . . .	72
<i>Седакова О. А.</i> Введение . . . . .	76
<i>Кравецкий А. Г.</i> Проблемы изучения и обучения . . . . .	84

### СООБЩЕНИЯ

<i>Аникин А. Е.</i> О славянских названиях птиц (болг. диал. <i>догуличе</i> ) . . . . .	91
<i>Кишкин Л. С. М. И.</i> Горленко-Долина – пропагандист русской музыки в Чехии и чешской в России (забытая страница истории русско-чешских культурных связей) . . . . .	94
<i>Гримстад Кнут</i> (Норвегия). Славистика между фиордами . . . . .	101

**ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ**

<i>Софронова Л. А., Лаптева Л. П.</i> Два мнения об одной книге. Л. Н. Титова. Чешская культура первой половины XIX в. . . . .	111
<i>Крысько В. Б. С. П.</i> Лопушанская. Развитие и функционирование древнерусского глагола . . . . .	115

**ЗАМЕТКИ О КНИГАХ**

<i>Васильев М. А.</i> Никита Иванович Горбачевский . . . . .	120
--	-----

**НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ**

<i>Чернявский Г. И., Страшнюк С. Ю.</i> Межреспубликанская научная ассоциация болгаристов: перспективы и основные направления деятельности . . . . .	121
<i>Досталя М. Ю.</i> Одесская конференция памяти В. И. Григоровича . . . . .	123

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

**И. И. ПОП** (главный редактор), **В. К. ВОЛКОВ**, **Р. П. ГРИШИНА**,  
**А. А. ГУГНИН**, **В. А. ДЬЯКОВ**, **М. С. КАШУБА**, **М. Н. КУЗЬМИН**,  
**Г. Ф. МАТВЕЕВ**, **С. В. НИКОЛЬСКИЙ**, **Ю. С. НОВОПАШИН**, **А. Ф. НОСКОВА**,  
**Л. А. СОФРОНОВА** (зам. главного редактора), **Б. Н. ФЛЮРЯ**, **Т. В. ЦИВЬЯН**  
(зам. главного редактора), **М. А. ВАСИЛЬЕВ** (отв. секретарь)

Зав. редакцией *И. И. Бизяева*



## ТЕАТР И ТЕАТРАЛЬНОСТЬ (Круглый стол)

### О КАТЕГОРИИ ТЕАТРАЛЬНОСТИ

«Весь мир — театр,  
И всякий в нем актер».

*В. Шекспир*

Впервые о театральности в русской театроведческой литературе заговорил Н. Н. Евреинов (1879—1953), выпустив научно-теоретический труд «Театр как таковой. (Обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства в жизни)» [1]. Отбросив привычные представления, автор предпринял смелую попытку исследовать и сформулировать смысл и значение этого понятия для развития культуры, проследить его возникновение в исторической ретроспективе.

Несмотря на прошедшие с той поры десятилетия, до сего времени существует очевидная двусмысленность в восприятии театральности: на бытовом уровне она нередко носит негативный оттенок, понимается как некое неестественное поведение или действие; другой тип восприятия этого явления — более глубокий, подразумевающий под театральностью необходимое условие развития личности, более того — мировой культуры [2/.

Евреинов попытался придать понятию театральности то значение, которое бессознательно ценилось людьми с древних времен, отрицательный термин сделать положительным, хотя и проблематичным. По его мнению, он не смог найти адекватной формы для выражения содержания театральности, поскольку это равно попытке «вместить океан в суповую миску» [3, с. 10].

Что же такое театральность по Евреинову? Прежде всего — это свойственное человеческой природе чувство преображения, наличие которого делает возможным театрализацию жизни, т. е. режиссуру жизни. Таким образом, можно сказать, что театральность — тот воздух, из которого человек черпает жизненные силы, наполняет новым смыслом собственное существование. Конечно, Евреинов, будучи безмерно увлечен темой своего исследования, даже несмотря на глубокое знание им истории театра (а, может быть, и поэтому), в некотором роде абсолютизировал значение театра и театральности, утверждая, что «театр станет новым учителем. Отеатральной жизни — вот что станет долгом всякого художника. Появится новый род режиссеров — режиссеров жизни» [3, с. 13].

Бесспорна самая тесная связь понятия театральности с театром; она нередко понимается как нечто вторичное, производное от театра. Но, очер-

чивая основные параметры категории театральности, Евреинов отвергает такой вывод, считая, что театральность или, как он ее еще называет, «инстинкт преображения», был свойственен человеческой природе с древних времен, правда, не имел соответствующего названия. Конечно, в наиболее чистой, концентрированной форме этот инстинкт обнаруживается, прежде всего, в театре, поскольку «он должен быть прежде всего театром, т. е. самодовлеющей художественной величиной, покоящей свою эстетическую сущность на синтезе всех искусств, но таким образом, чтобы не нанести урона самостоятельному значению театральности — этой альфы и омеги истинно театрального искусства» [3, с. 19]. Театр обязан своим происхождением именно чувству преображения, а не религиозному культу или хореографическому влечению (по Г. Фуксу), считает Н. Евреинов [3, с. 29].

В книге «Театр как таковой» присутствует несколько определений театральности как чувства, инстинкта, явления, но под театральностью Евреинов подразумевает «эстетическую монстрацию явно тенденциозного характера, каковая даже вдали от здания театра одним восхитительным жестом, одним красиво протонированным словом, создает в нашем воображении подмостки, декорации и освобождает нас от оков действительности мягко, радостно, всенепременно» [3, с. 19].

Все-таки исследователь обедняет введенное им понятие, отказываясь от категории игры, без которой рассуждения о театральности представляются недостаточно обоснованными. Как известно, игра состоит из двух взаимозависимых элементов: перевоплощения и действия. Сливая перевоплощение, преображение с театральностью, ставя между ними знак равенства, Евреинов упускает из виду действие, без которого театральность становится неразличимой со зрелищностью.

Многие тезисы, положенные в основу теории театральности Евреинова, вызвали неприятие современников, режиссеров и историков театра. Так, К. С. Станиславский, ориентированный на сценическую естественность, еще в 1911 г. доказал Евреинову, что театральность — зло в театре. По прошествии лет многие из бывших оппонентов автора «Театра как такового» стали его горячими сторонниками, например, А. Я. Таиров, призывавший к «театрализации театра», что еще раз доказывает, если не бесспорность выводов Евреинова, то их несомненный интерес и значение для теории культуры.

Театральность, наиболее ярко и ощутимо проявляющаяся в театре, сопутствует, даже не всегда осознаваемая, многим жизненным проявлениям; что же касается культуры, то Евреинов считает театральность «абсолютно самодовлеющим ее началом» [3, с. 20]. Чувство преображения — органичная часть человеческой природы. Из абсолютного большинства слагаемых жизни человек на протяжении веков устраивает театральное представление: из рождения ребенка, его воспитания и обучения, свадьбы, похорон.

Из века в век передаются некие константы поведения или роли участников этих церемоний и обрядов, которым не обучают, что подтверждает тезис Евреинова о театральности как инстинкте преображения.

Театральность он считает первичной по отношению к эстетическому чувству. Но не возникло ли оно из стремления первобытного человека к прекрасному, желания скрасить свою жизнь некими атрибутами, отвечающими его представлениям об этом прекрасном? Так было и в последующие века, и в наши дни. Стремление к красоте, чувство прекрасного и театральность — категории одного порядка, очевидно взаимодействующие, возникшие, по всей вероятности, одновременно из стремления преобразить жестокость и непонятность бытия. Театрализуя жизнь, человек заполняет ет пустоты своей души, делает существование полноценным.

Театральность во все времена осознавалась и тонко использовалась в профессиональной деятельности талантливыми политиками и юристами, служителями различных конфессий, военными и педагогами для достижения наиболее эффективных результатов, нередко в особо острых ситуациях. Евреинов называет Наполеона «изумительным режиссером всех времен и народов, артистом, у которого актерская молодежь могла бы научиться театральному гипнозу» [3, с. 39]. (Думается, что этот ряд можно пополнить талантливыми артистами-политиками из отечественной истории.)

В эволюционном процессе человеческих сообществ существуют короткие по времени периоды, в которых их жизнь необычайно театрализуется, где многие элементы, как правило, трагические, обращаются их режиссерами — общественными деятелями — в театральные спектакли отчасти для смягчения ситуации, отчасти для переключения настроения общества в нужное им направление. Евреинов приводит в качестве наиболее показательных примеров Испанию XVII в., Великую французскую революцию, аналогичную эпоху пережило и наше государство в 30—40-е годы во время многочисленных показательных процессов, осуществлявшихся по одному сценарному плану. Это так называемая «служебная роль театральности в истории политического управления» [3, с. 52].

Театральность, на наш взгляд, имеет несколько уровней. Первый, самый древний и достаточно устойчивый, и есть инстинкт преобразования, свойственный и первобытному человеку, и нашему современнику, более того, присущий даже некоторым видам высокоорганизованных животных. Другой уровень театральности — более развитый, сознательно эксплуатируемый людьми. Этот второй уровень и есть категория театральности, неотъемлемая от общего развития культуры. «На начальном этапе своего развития такая театральность была некоего рода предискусством» [3, с. 20]. Позднее она проявилась решительно во всех видах искусств. Именно этот второй уровень театральности вызвал к жизни театр как учреждение, а затем и настоящий его культ. Например, в Европе духовенство было вынуждено не только театрализовать церковную службу, но и породило в своем лоне литургическую драму, которая с паперти стремительно шагнула на площадь, обратилась в мистерию грандиозных размеров, отделилась от нежизненной церковности и совершенно свободно слилась со светским лицедейством [3, с. 55].

Оба уровня театральности постоянно взаимодействуют, второй уровень подпитывается первым, выводя его на новые ступени развития, подтверждая неоспоримость того, что театральность в истории культуры, с одной стороны, могучий фактор многих культурных ценностей, а с другой — не менее мощное орудие воздействия на человеческие чувства и мысли.

*КУРЕННАЯ Н., канд. филол. наук,  
старший научный сотрудник ИСБ*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Евреинов Н. Н.* Театр как таковой. (Обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства в жизни.) СПб., 1912.
2. Театральное пространство. Материалы научной конференции (1978). М., 1979.
3. *Евреинов Н. Н.* Театр как таковой. М., 1923.

Тема, вынесенная в заглавие, неисчерпаема. Исследованию этого ключевого художественного явления может быть посвящена отдельная книга.

Спектакль, который «радует все чувства» и «будит мысль», рождается в соединении различных искусств. Столь же сложным и многообразным процессом является и дальнейшая жизнь спектакля, выражаясь современным языком, его «прокат». Синтетический характер театра достаточно декларирован, и вряд ли целесообразно останавливаться на этой характернейшей черте сценического искусства еще раз. Нам также уже приходилось писать об этом на страницах данного журнала [1]. Представляется более продуктивным и интересным рассмотреть эту проблему под углом зрения «синтезма» двух типов театра: западного (западноевропейского) и восточного<sup>1</sup>, проследив, насколько это возможно в небольшой статье, носящей к тому же характер «заявки», черты их сходства и отличия. Из множества проблем, которые включает в себя тема «Синтез искусств на сцене», нам бы также хотелось показать на нескольких примерах «динамику» театрального искусства, изменение соотношения его областей.

«Синтезизм» западного и восточного театра рождается у самых его истоков, на стадии ритуальных игр и обрядов, как зачатков театральной зрелищности. Оба типа театра на начальном этапе прошли один и тот же путь (миф — традиция). Затем их развитие пошло разными путями. В значительной степени это объясняется особенностями духовной жизни и общественного устройства, различной социально-экономической почвой, на которой возник тот и другой театр.

Значительным рубежом в истории европейского театра стала эпоха Возрождения, которая революционизировала все его области, создав новую драматургию, новую актерскую технику, новые театральные здания и т. д., сделало театр важным институтом идеологического воздействия [2, с. 223]. Во главу угла нередко ставится вопрос об «идейной нагрузке» спектакля (исследователей же интересует, несет ли ее драматический текст, актер, художественное оформление и т. д.). Встав на этот путь, западноевропейский театр все больше порывает с традицией.

В основе своей восточный театр не порвал с древнейшими народными обрядами и культовыми действиями с магической основой, которая с веками не преодолевалась, а совершенствовалась, утончалась, приобретала все более богатые краски. Характерно, что на протяжении почти всей истории японского театра Но его не относили к зрелищным искусствам, а рассматривали как мистирию и ритуал. Лишь в XX в. он преобразуется в репертуарный театр. При этом давление традиции, выдвигаемой, как правило, главным параметром восточного искусства, не стоит преувеличивать. В рамках, казалось бы, неизменной канонической схемы обнаруживается динамика, подвижность. Традиция не сделала из театра мертвый, музейный экспонат, не разорвала живой связи театра со временем.

Восточный театр никогда не был орудием гражданского воспитания, «рупором социально-политических идей». Его основная задача заключалась в утверждении идеала гармонически развитой человеческой личности. Этим в значительной степени объясняется роль, выпавшая на долю движения, жеста, танца — ведь они общедоступнее слова, являются звеньями одной цепи. «Традиционный восточный театр» — это такой синтетический театр, где каждый компонент сценических средств выражения, сливаясь с другими и как бы растворяясь в других, образует единый орга-

<sup>1</sup> Для удобства изложения мы будем пользоваться этими терминами, понимая, разумеется, их географическую условность, и в то же время, не упуская из вида специфику театрального развития внутри этих двух ареалов.

низм. «Каждый компонент сценических средств выражения, — пишет исследователь японского театра Но Н. Г. Анарина, — имеет самостоятельную значимость и вместе с тем неотделим от других: слово на сцене становится музыкой, а музыка обладает выразительностью слова; текст заменяется танцем, который выступает символом непрозвучавшего слова» [3, с. 67].

В противовес ему механизм западноевропейского типа театрального синтеза предполагает два независимых друг от друга ряда — зрелищно-действенный и текстовый, причем первый выполняет по отношению к другому иллюстративную функцию.

Для восточного театра показателен сплав сценических жанров: здесь обнаруживается и драма, и опера, и балет, и пантомима, и цирк, причем в столь мощном синтетическом сплаве, которого не могут достичь такие наиболее «синтетичные» типы западноевропейского театра, как например, хороводный театр V в., «мимическая гипотеза» эпохи Римской империи, итальянская комедия дель арте, венские, чешские и польские «кводлибеты» и т. д.

Отличие двух типов театра обуславливается и тем, что спектакль японского и китайского театра — плод творчества актера-драматурга, создающего текст и одновременно рисунок его сценической интерпретации. Каждое слово на сцене подкрепляется жестом, движением, танцем и только здесь в полной мере обретает уготованное ему звучание, смысл. Важно подчеркнуть при этом, что спектакль восточного театра, строго упорядочивая все компоненты сценического воплощения: сцену, реквизит, костюмы, маски, жесты, вплоть до интонации голоса, и синтезируя все искусства на сцене, сохраняет при этом их «природу», не смешивает их друг с другом: они соединяются в неискаженном, неизменном виде. Своеобразие синтеза восточного театра, таким образом, определяется как «неслитность, неразделенность и неизменность» [3, с. 198].

Для западноевропейского театра характерна довольно большая — хотя и разная для различных национальных культур и эпох — дистанция между драматургом и актером, что, по-видимому, и не позволяет ему достичь той удивительной гармонии всех искусств, свойственных восточному театру — изящной словесности, музыки, живописи, архитектуры, скульптуры, декоративного прикладного искусства, а в японском театре — и садового искусства.

Неповторимое своеобразие восточному театру придает условно-символическое решение спектакля, что определяет его четкий композиционно-ритмический принцип, использование сценического пространства (передвижения актера здесь никогда не носят произвольного характера, что свойственно европейскому театру, хотя и прибегающему к помощи — диктату режиссера), техника игры — пантомимически-танцевальная, рисунок роли, благодаря стилизованным движениям лишенной характерности типажности. Подобно «западному» актеру, актер восточного театра также призван передать душевное состояние своего героя, однако для этого ему уготованы иные средства, помогающие «нарисовать» обобщенную картину природы и выразить ее восприятие человеком вообще, иными словами, передать миру ощущение человека.

Главная задача, стоящая перед актером западноевропейского театра, — выявление творческой индивидуальности, перед китайским и японским актером — виртуозное владение техникой изображения. Канон сценического образа принимает здесь выразительную и лапидарную форму. Китайский актер, например, с раннего детства обучался изображению четырех «эмоциональных состояний» — радости, гнева, страдания, испуга. Несмотря на столь строгие, казалось бы, «рамки», в которые театральная традиция ставила исполнителя, в его игре обожествленная традиция прочитывается в контексте своего времени, в соответствии с индивидуальными осо-



бенностями таланта самого автора. Этим объясняется стилистическое раз-  
пообразие внутри жесткого канона. Не случайно при анализе восточного  
театра исследователи констатируют полное отсутствие «реалистического  
произвола» [4].

До сих пор мы говорили в основном о том, что разделяет эти два типа  
театральной культуры, однако, при всей их специфике и условности по-  
добного сопоставления, несомненно искажающей картину развития этих  
театров, едва ли следует упускать из виду черты их сходства. Оно прояв-  
ляется, прежде всего, в самом синтетическом характере сценического ис-  
кусства — с большим вниманием к музыкальной и танцевальной сторонам  
восточного спектакля. Ведь здесь «...наивысшую степень проявления  
чувств традиция отдает звуку и мелодии, которые образуют эмоциональ-  
ную и этическую ткань спектакля» [5, с. 125].

Есть и более частные моменты, связывающие эти два типа театра и по-  
этому представляющие определенный интерес. Один из них — так назы-  
ваемые прологи и эпилоги — неотъемлемая составная часть европейского  
театрального представления. В Англии рубежа XVII—XVIII вв. [6, с. 66],  
в Чехии конца XVIII — первой половины XIX в. [7], в венском Бургтеатре  
такие прологи — своего рода обращения драматурга к зрителям, настра-  
ивающие аудиторию на нужный лад, читались до поднятия занавеса,  
а иногда и в антрактах. В них затрагивались не только животрепещущие  
проблемы театральной жизни, но и злободневные события современности.  
Это же явление присуще японскому театру Но, канонический спектакль  
которого состоял из пяти пьес. Между ними также читались (разыгрыва-  
лись) прологи-фарсы, как бы перекидывающие мостик между средневеко-  
вым сюжетом пьесы и современностью [3, с. 102]. Тематика этих встав-  
ных номеров лежала в плоскости житейских и социальных отношений,  
которые нередко становились объектом острой сатиры актера-драматурга.  
Фарсы, в которых нашли яркое отражение нравы, обычаи, быт Японии,  
живо напоминают прологи и эпилоги европейского театра, несущие те же  
задачи и выполняемые теми же средствами (их общей характерной чер-  
той является живой, доходчивый разговорный язык).

Не имея возможности продолжить разговор о подобных «общих момен-  
тах», упомянем, что исследователя могли бы привлечь сопоставимые  
функции маски и жеста в китайском театре и итальянской комедии дель  
арте.

Говоря о синтезе искусств на сцене, нельзя упускать из виду такую су-  
щественную его сторону, как динамика театрального искусства. На от-  
дельных этапах развития театра на первый план выходит то литературно-  
драматургическая основа спектакля, то музыка, то живописное оформле-  
ние. Эти интересные вопросы обычно не привлекают внимания исследова-  
телей, хотя без их учета трудно выявить взаимодействие театра с другими  
видами искусства, составить ясное представление о путях и основных за-  
кономерностях развития художественной культуры.

Взаимоотношение театра и литературы — это диалектически сложный  
процесс, включающий и творческое взаимообогащение и своего рода кон-  
фликт, когда, например, на первый план выходит литературная основа  
спектакля, что приводит к распространению жанра «драмы для чтения». Трагедии  
Сенеки, представляющие собой своеобразные философские трактаты-диалоги,  
крайне недраматичны, ибо все движения и жесты персона-  
жей в них описываются, что делает излишним их дополнение актерской  
игрой. Они рассчитаны скорее на декламационное камерное исполнение,  
а не на сценическое представление.

Шаг в направлении отхода от театра делают чешские и польские «пьесы  
с танцами и песнями» [8]. На рубеже XVIII—XIX вв. они все больше от-  
рываются от литературы, значение слова в них падает, центр тяжести пе-

реносится на танец, песню, пантомиму, т. е. отдельные номера «эстрадного» типа, лишь скрепляемые сюжетом спектакля.

Иная картина наблюдается, например, в испанском театре XVI—XVII вв. Его отличительная черта — ведущая роль драматургии, которая целиком определяет стиль автора. Зритель приходит смотреть, прежде всего, пьесу популярного автора, его интересует тема драматургического произведения, его фабула и интрига, а не детали постановки и исполнение. Здесь основная цель актера — раскрыть авторский замысел. Причины такого положения в театре заключаются как в содержательности драматургии, так и в неспособности театра создать равноценную ей сценическую форму в отставании постановочного искусства.

Говоря о спектакле, следует помнить о самостоятельной художественной ценности текста драмы, а при осмыслении литературной стороны драматургии — о характере ее сценического воплощения. Это «общее» положение особо актуально для театра восточного региона, где слитность стихии литературной и театральной выступает более зримо. Так, на начальном этапе театрального развития Китая драма остается настолько тесно связанной с театром, что в качестве самостоятельного жанра она еще не вполне осознается — стихотворные арии ценятся, в первую очередь, как разновидность поэзии. Это положение меняется лишь на рубеже XVI—XVII вв. [9].

Нередко театр стремится «изумить», «поразить» зрителя, щеголяя «чистым» актерским мастерством, что приводит к культуре артистической вольности. Это показательно, в том числе, для комедии дель арте, демонстрирующей блестящее формальное мастерство исполнителей за счет сужения других компонентов спектакля. В китайский театр, подчеркивают исследователи, также шли, как правило, «... не на пьесу, а на актера, потому что именно актер наделял драматургический персонаж-архетип чертами индивидуальными, создавал образ живого человека — одного из тех, что следил за его игрой из зрительного зала» [5, с. 133].

Интересно было бы проследить судьбу музыки в жизни драматического спектакля. Драматурги включали ее в свои произведения, то создавая поэтическую атмосферу той или иной сцены, то внося дополнительные смысловые акценты в какой-либо эпизод, то иллюстрируя с помощью музыкального материала основную мысль произведения. Ярким примером здесь может служить судьба песни «Где родина моя?» из пьесы Й. К. Тыла и Фр. ШкROUPA «Фидловачка» (пражский Сословный театр, 1834 г.), вскоре ставшей государственным гимном Чехословакии.

Разумеется, объем музыки в драматическом спектакле был различен в зависимости от жанра пьесы: реже — в трагедии, чаще — в комедии. Апофеозом процесса «слияния» слова и музыки стало рождение самостоятельного вида театрального искусства — оперы, которая обращалась «... через поэзию к рассудку, через музыку к слуху, через живопись к зрению» [10]. Традиционно уделял большое внимание музыке восточный театр, ибо музыка — душа искусства актера. Согласно философии конфуцианства она правит законами всех пластических видов искусств.

«В наших пьесах сейчас главные „драматурги“ — композитор и сочинитель танцев», — писал Т. Шедуэлл об английском театре начала XVIII в. [6, с. 237]. Будучи необходимым и популярным элементом драматических спектаклей, танец получает все большее развитие и признание как в западном, так и в восточном театре, однако в последнем его роль и функция иные. «Язык европейского танца условен, язык танца и сценического движения китайского актера — условен и декоративен вдвойне. Это придает танцу характер игры, технически изощренной и эстетически изысканной» [5, с. 184]. Музыка и танец признаны главной организующей стихией синтетического искусства восточного театра.

Выдвижение на первый план изобразительной стороны, живописного оформления спектакля, деятельности сценографа — не столь редкое явление в истории театральной культуры ряда стран. Еще в середине XVII в. английский драматург Р. Феекноу сетовал, что в лондонских театрах «...все, кажется, делается для того, чтобы ублажать зрение, а не слух» [6, с. 252], подчеркивая, что все то, что возвеличивает подмостки, нередко умаляет достоинства самой пьесы. Подтверждением этого может служить творческая деятельность английского художника-символиста, режиссера Э. Г. Крэга, впервые выделившего декоративное оформление в самостоятельный художественный элемент спектакля. Восстав против бытовавших на сцене традиционных художественных приемов, он искал сценическую выразительность в синтетическом театре красок, света, музыки. Широко известны «ширмы» Крэга, в которых в 1911 г. в МХАТ шел «Гамлет». Однако монументальность, эффективность его декораций подавляли остальные компоненты спектакля, «заслоняя своим великолепием артистов» [11, с. 445]. По словам Станиславского, это было «отгораживание от литературного слова» [11, с. 432], приносившее театру скорее вред, чем пользу.

Приемов подобного «дерзкого вторжения», «подавления» одной какой-либо стороной сценического искусства других его сфер множество. Неслучайно в театроведческих исследованиях можно встретить решительные голоса резких противников содружества муз, полагавших, что у каждого искусства есть своя сфера влияния и свои возможности воздействия на зрителей. Для европейских просветителей, например, характерна убежденность, что бездумное «нарушение пропорций» в спектакле не приносит пользы ни одному виду искусства, что драматический театр должен существовать обособленно, решая задачи лишь ему присущими методами и средствами. Это, разумеется, не отрицало музыки и танца в спектакле, но определяло им вспомогательную роль.

Театр требует тщательного исследования, определения той специфики, тех особенностей, которые позволили ему занять столь яркое место в истории мировой культуры. Свою роль здесь может сыграть и попытка прояснить одну из главных его черт — синтез искусств на сцене.

*ТИТОВА Л. Н., канд. филол. наук,  
старший научный сотрудник ИСБ*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Титова Л.* Театр в системе культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы эпохи формирования наций (К постановке проблемы). — Советское славяноведение, 1984, № 3. с. 77–85.
2. *Мокульский С.* История западноевропейского театра. Ч. I. М., 1936.
3. *Анарина Н. Г.* Японский театр. Но. М., 1984.
4. *Третьяков С.* Чжунго. М.-Л., 1930, с. 128.
5. *Серова С. А.* «Зеркало Просветленного духа» Хуан Фань-чо. М., 1979.
6. *Ступников И. В.* Английский театр. Конец XVII — начало XVIII в. Л., 1968.
7. *Титова Л. Н.* Чешская культура первой половины XIX в. М., 1991, с. 164–165.
8. Театр в национальной культуре стран Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX вв. М., 1976, с. 34–35.
9. *Сорокин В. Ф.* Китайская классическая драма XIII–XIV вв. М., 1979, с. 17.
10. *Руссо Ж. Ж.* Материалы и документы по истории музыки. Т. 2. М., 1934, с. 63.
11. *Станиславский К. С.* Моя жизнь в искусстве. М., 1941.

Следуя западноевропейским образцам в устройении театра, русская культура эпохи барокко осваивала новые для нее художественные формы, ранее почти неизвестные средства для передачи сакрального содержания. Так возник школьный театр, жанровым ядром которого стали мистерии.

Мистерии вслед за церковной службой, как и некоторые другие жанры литературы и изобразительного искусства, переживали Рождество и Пасху и другие знаменательные события, служили напоминанием о них. Ср. «Духовные стихи, дублировавшие церковные службы (Страшному суду и пр.) за стенами церкви, вне подобавшего для исполнения литургии места, сочетали литургическую проблематику с фольклорной песенной формой...» [1, с. 172]. Аналогично предлагалось воспринимать мистерии, о чем прямо говорилось со сцены: «Обаче мы в память толиких щедрот его тайны промысл сей кратким действием изявити... предложити умислихом» («Рождественская драма», пролог). Нечто подобное происходило и с иконой, когда она попадала в светский контекст, находилась за пределами храма.

Приспособленное для нужд традиционной культуры зрелище, благодаря высокому содержанию, перестало «вести за собой скуку и омерзение» (Г. С. Сковорода), превратилось в эстетически приемлемое. При этом, следуя требованиям древнерусской поэтики, не признававшей за зрелищностью никаких других прав, кроме обслуживания низовой культуры, и открыто подозревавшей ее в бесовстве и оборотничестве, русская культура сдерживала напор театральности, не позволяла себе «радости метаморфозы» (А. И. Белецкий). Она даже преднамеренно редуцировала ее, отнюдь не копируя избранные ею образцы. Правда, театр не терял при этих процедурах своих природных свойств, оставался самим собой. Только его свойства иначе проявлялись, он не был насыщен особой художественной энергией; иногда признаки театральности были так редко рассеяны в сплошном потоке слова, бывшего доминантой театра, что не увлекали за собой в его мир. Слово оставалось ораторским. Заметим, что длительное время сохраняя свою позицию, слово не переводило тексты пьес в разряд чисто литературных произведений, оставляло их в системе театральной культуры.

Одновременное приближение к театру и отталкивание от него, которое осуществлялось на мистеральной сцене с помощью трансформаций, сводимых, в основном, к редукции, в полной мере характеризуют особенности театральности таких религиозных жанров, как мистерия. В целом мистеральную театральность можно определить как бедную и неустойчивую. Внешние ее приметы, которые явно утверждают зрелище как особый вид искусства, почти отсутствовали. В этом театре не было талантливой (или бездарной) игры актеров, эффектных декораций (или хотя бы безвкусовых), нигде не чувствовалась рука режиссера. Даже тот небольшой по объему набор признаков, который был присущ мистеральному театру, проявлялся не всегда и отнюдь не в полном виде в каждой постановке. Все это не противоречило общему духу культуры барокко, которая, характеризуясь театральностью, выдвигая театр на роль доминанты в системе искусств, одновременно настаивала на антитетичности и, следовательно, противопоставляла театральности ее противоположность. Барокко играло оппозициями, переворачивало их, стремилось к полному слиянию противоположностей, которое никогда не было окончательным и всегда было готово к очередным изменениям. Потому и мистеральный театр мог себе позволить быть «не-театральным», «бедным», в чем и со-

стояла его сущность, таившая в себе готовность к преобразению в сгусток театральности.

«Колебательное» движение в восприятии нового художественного языка, осуществлявшееся непосредственно в процессе создания театра, таким образом, совпало с принципами новой поэтики, и это совпадение обеспечило театру особое положение в культурном контексте эпохи.

Мистерии, определив облик школьного театра и повливав решительно на все его жанры, приближали его к сакральному пространству культуры, но именно их, пусть бедная, театральность, а не только рекреативная функция интермедий, бывших их обязательной частью, не давала им нарушить границу между двумя основными сферами культуры: сакральной и светской. Они никак не могли утвердиться как сакральное искусство. Светскими же они не могли стать по определению. Они так и замерли между двумя сферами культуры и не заняли в ней однозначной позиции. Колебание в сторону сакрального разрешило мистерияльному театру существовать в культуре, соблюдавшей строгую дихотомию и долгое время не признававшей за театральностью права быть средством для передачи основных смыслов человеческого бытия. Этим объясняется, кстати, распространенность близких к мистериям декламаций и диалогов со слабо выраженными признаками театральности. Движение в сторону светского начала ставило зрелищность, а вместе с ней и театр, в равноправное положение с другими средствами художественного языка эпохи. Общество соглашалось с тем, что в театре можно столкнуться с «видением живым, яко в зеркале», и что в этом нет ничего предосудительного.

Мистерияльный театр, в своей основе не порывавший с церковным обрядом, не выстраивал собственное художественное пространство. Он точно повторял модель мира своей эпохи и принципиально не различал театральные макрокосм и сценический микрокосм, не наделял персонажей особым углом зрения, под которым зрителям предлагалось видеть происходящее на сцене. Так осуществлялись принципы экономии и достаточности. Так снималось противопоставление между миром театра и миром сцены, свойственное обычно искусству преобразования. В этом снятии — признак эпохи, тяготеющей к *coincidentia oppositorum* [1, s. 160], а не только проявление «бедности» мистерияльного театра. Это совпадение знаменательно, оно будет последовательно происходить и на других уровнях мистерии.

Все слои ее художественного пространства совпадали в одном и различались в первую очередь по признаку видимое/невидимое. На сцене этого типа невидимым был реальный мир, т. е. тот, что окружал людей в их повседневной жизни. Видимым же выступал мир высших значений, который также обладал реальностью, только другого рода. Именно этот мир был вынесен на сцену.

Сцена эта, ориентированная по вертикали, не членилась дополнительно. Даже маньсоны не были для нее типичны. Она не оснащалась декорациями. Огромность мира, представляемого не столько на сцене, сколько самой сценой, не дробилась на отдельные участки. Он не обогащался пусть незначительными признаками детализации. Мистерия строго придерживалась единственного, главного своего указателя — оси мира, отнюдь не всегда подчерченного театральными средствами, часто скрывающегося на уровне слова.

Сцена эта не заполнялась предметами вещного мира. Реквизит ей был практически не знаком. Она оставалась пустой. Те же предметы, которые присутствовали, не оставались надолго, в течение всего представления. Их приносили персонажи, и вместе с ними они исчезали. Эта пустота — важный признак театральности мистерии. Она несла в себе метафизический смысл, сообщала сцене огромность как одну из основ-

ных характеристик изображаемого ею мира. «Драма с универсальными амбициями требует или „открытой“ сцены, огромного пространства, или — пустой сцены, которая также в состоянии обобщать значения» [2].

Художественное время этого театра, неразрывно связанное с пространством, также не имело специфически «театральных» примет. Оно не меняло мерного течения, не сплющивалось и не растягивалось. Это было сакральное время, время мифа, который не столько воссоздавался, сколько пересказывался персонажами. Оно было единым и прерывалось только с вторжением интермедий. С ним не происходило никаких трансформаций.

Таковы преобразования времени и пространства в мистериальном театре. Они оказывались основным материалом, с которым велась игра. Театр выдавал их не за то, что они суть на самом деле. Это становится очевидным при сравнении их с реальным временем представления, совпадения с которым, например, добивались классицисты, и с реальным пространством, в котором это представление совершалось.

В меньшей степени игра захватывала действующих-актеров и само действие, в чем состоит чисто барочный парадокс этого театра.

Мистериальный театр не придавал особого значения действию. Оно не было разнообразным, так как нельзя было исказить высокий предмет изображения. Часто повторялось и слабо развивалось, зато следовало одной линии: соотношения божественного и человеческого. Оно не сопровождалось боковыми ответвлениями и зачастую транспонировалось в слове. Вестники просто перегружали мистерии, выступая в разных ипостасях. Скванность мистериального действия объясняется, видимо, тем, что оно еще не утратило сакральной функции и не приобрело окончательно эстетической. Это произойдет позднее, и в других драматических жанрах [3].

Персонажи, как и действие, переходили из пьесы в пьесу. Они представляли нечто, не столько воплощая и перевоплощаясь, сколько указывая и отсылая; были статичны. Они существовали не в изолированном мире, а в разомкнутой для зрителя цепи. Это были фигуры, а не *dramatis personae* [4]. Их модус существования был различен; аллегории и реальные персонажи выступали на равных основаниях, хотя и были взаимозависимы. Важно отметить, что и те, и другие никогда не достигали статуса роли, не присваивали «чужого» лица. Исполнитель не перевоплощался, т. е. опускал одну из двух составляющих игры — перевоплощение. Он только действовал [5], да и то неактивно. Игрового перевоплощения, преобразования всякого рода, которое Н. Н. Евреинов считал главной формой театральности и основной пре-эстетической функцией [6], на мистериальной сцене не происходило. Иногда даже исполнители (особенно в декламациях и диалогах) вообще не идентифицировались с театральными персонажами и именовались так: Отрок I, Отрок II, Ученик и проч. Персонаж мог даже не появляться на сцене. Его могло заменить изображение, особенно если он имел высокий сакральный статус.

Заметим, что негативной отмеченности перевоплощения в культурном сознании эпохи нашлись соответствия в мистерии. Ее постановщики как бы боялись «страшилищ на дьявольский образ пристроенных».

Отказываясь сознательно от важнейшего признака театра и игры, этот театр позволял хотя бы двигаться к перевоплощению аллегориям. Они в какой-то мере тяготели к роли, наглядно представляя абстрактную условность, стремительно переводя зрителя из мира реальности в мир абстрактных значений.

Итак, к актеру мистериального театра не приложимо понятие маски. Он не играет роль, а выступает посредником между зрителем и драматургом. Он не обогащает написанную для него партию, а только строго

следует ее контурам, неукоснительно «слушается» драматурга, не развивая и не обогащая его замысел. Он не играет текст, а произносит его в соответствии с правилами ораторского искусства. Его жестикация и мимика в связи с этим также были ограничены и нормированы.

Этот актер, в отличие от актеров других видов театра, никогда не намекал на возможную дистанцию, существующую между ролью и актером-человеком. (На этом строится иногда целая театральная школа, например, у Б. Брехта.) «Это двойственное восприятие актера зрителем, — пишет П. Г. Богатырев, — весьма важно. Во-первых, благодаря именно такому восприятию все знаки, выраженные актером, становятся жизненными. Во-вторых, двойное восприятие подчеркивает, что исполняющего роль актера никак нельзя отождествлять с персонажем пьесы, что нельзя ставить знак равенства между актером и лицом, которое он представляет, что костюм и маска так же, как и жесты актера — лишь знаки знака изображаемого действия» [7]. В мистериальном театре такое двойственное восприятие не предполагается, его даже нельзя и вообразить. От него отводят сценическое поведение актеров, изображающих реальные персонажи, и выступающих в виде аллегорий. Актер стремится остаться в тени произносимого им слова. Таким образом, и здесь наблюдается тяготение к слиянию противоположностей. Оно вызвано невозможностью с точки зрения эпохи доверить человеку в его естестве воплощение символического содержания, которое пока принадлежало только слову и изображению. Потому «живая» зрелищность казалась невозможной. Так театр сознательно отказывался реализовать заложенные в нем возможности, подавляя свою природу во имя высшего смысла.

Она, конечно, давала себя знать, но на уровне средств, которые находились в распоряжении актера. Костюм и атрибуты оказались вместилищем театральности. Только с их помощью (а не основного инструмента актера — его тела) он приближался к игре.

Костюм, правда, лишенный индивидуальных черт, легко «прочитывался» зрителем, ибо был составлен из набора значимых, «говорящих» элементов. Он как бы приравнивался к высказыванию, развернутому на глазах у зрителя. Костюм не изменял облика актера. Идея маски в нем отсутствовала, но он играл за актера власть, мужество, корыстолюбие.

Включались в игру и атрибуты, организовывавшие спектакль как зрелище. Они выступали носителями значений, сливающихся в идею, носителем которой был актер. Он не жил на сцене, не увлекал в мир иллюзий, а предлагал зрителю через изобразительный ряд, сфокусированный в атрибуте и костюме, пройти путь усвоения мысли, концепции. Именно через костюм и атрибут совершался прорыв к искусству нового вида. Повествование в лицах, пересказ благодаря им оживали и расцветали, становились предназначенными не только для слуха, но и для зрения.

Своеобразным коконом театральности были немые картины, часто используемые в мистериях. Они еще не сплетались с действием-словом, построенным по риторическим правилам и были только прообразом будущего театра, но именно в этом качестве они представляются чрезвычайно ценными.

Итак, принципиальная «бедность» мистерии: пустая сцена, отсутствие декораций и реквизита, сдержанность актера-оратора, однообразность действия, чрезвычайное доверие к слову — давали ей право на существование в системе русской культуры становящейся эпохи. Эта «бедность» таила в себе подлинную условность, без которой всякое искусство немислимо. Внутри нее были заложены потенции зрелищности, носителями которой были пока костюм, атрибут, немая картина. Очень скоро на сцене начнут «плясание творить», будет звучать «сладкая музыка». Теат-

ральность разрастется, но не затронет мистирию. Она останется, как всякий полностью выразивший себя художественный феномен, одинокой и независимой. Ее завершенность будут осознавать в последующие эпохи (вспомним эксперименты-возвращения к обряду, а значит и к мистерии) и обращаться к ней. Театр, который сознательно предлагал актерам не играть, убирал со сцены ненужный ему вещный мир, стремился к тому, чтобы доступное только внутреннему зрению предстало на сцене, этот театр не ушел из мира искусства.

*СОФРОНОВА Л. А. д-р филол. наук,  
зав. сектором историко-культурных проблем ИСБ*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Смирнов И. П.* О древнерусской культуре, русской национальной специфике в логике истории.— In: Wiener Slavistischer Almanach. SB, № 28, Wien, 1991.
2. *Ślawińska I.* Odczytanie dramatu.— In: Problemy teorii dramatu i teatru. Wrocław, 1988, s. 73.
3. *Гусев В. Е.* Истоки русского народного театра. Л., 1977, с. 5.
4. *Ślawińska I.* Główne problemy struktury dramatu.— In: Problemy teorii dramatu i teatru. Wrocław, 1988, s. 25.
5. *Ивлева Л. М.* Дотеатрально-игровой язык русского фольклора: проблема теории и типологии.— Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. искусствоведения. Л., 1985.
6. *Евреинов Н. Н.* Театр как таковой. Пг., 1923. с. 28.
7. *Богатырев П. Г.* Знаки в театральном искусстве.— Труды по знаковым системам. 7. Тарту, 1975, с. 20.

#### ПРИРОДА КАК СЦЕНА В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Проникновение театрального начала в повседневную жизнь было характерно для всех культурных эпох. Однако каждый раз оно происходило в различных формах, костюмах и декорациях. Восемнадцатое столетие провозгласило возвращение к естественной природе как идеалу, обеспечивающему человеку возможность счастливого существования. Поэтому именно природная среда стала сценой благополучных робинзонад, а анклавами счастливой утопии явились английские пейзажные парки с их искусно воспроизведенной естественной растительностью и ландшафтами, а также интерьеры, которые украшались пейзажными декорациями и обильным растительным орнаментом, превращаясь в подобие садовых беседок. Именно такая обстановка представлялась наиболее соответствующей для реализации новых принципов человеческих взаимоотношений и поведения, основанных на идее «естественного равенства».

Век философов не принимал «естественное» в его истинно натуральных некультивированных формах, в то столетие всегда предполагалась обработка первоначального материала, которой должна была подвергнуться как сама природа, так и человек, его быт. В рамках классицистических идей представление о естественной природе не совпадало с действительной реальностью. Поэтому в живописи, литературе или садово-парковом искусстве она приобретала стилизованный облик, а поведение человека — эстетизированный характер.

Со всей очевидностью это проявилось в пейзажных парках, возникших в ту эпоху и сконцентрировавших ее важнейшие признаки.

Пейзажный парк был местом своего рода «игры в утопию». Но его можно представить и в качестве места реализации эстетической игры, в которой, по мысли Ф. Шиллера, раскрывается сущность искусства,



стоящего между жизнью и идеалом. При этом эстетическая игра виделась как средство достижения гармонии не только в сфере искусства, но и в *art de jouir*. Парковый быт давал такой игровой синтез, имея целью восстановить единство практических и духовных потребностей, природного и социального, эстетического и прагматического начал, реализуя тем самым основные идейные постулаты Просвещения. Человек, полагал Шиллер, «бывает вполне человеком лишь тогда, когда он играет» [1]. В «садовой игре» обитатели парков находили свое естество и необходимую для его реализации «естественность».

Отсюда вытекала принципиальная театрализация паркового поведения. Парк и раньше представлялся сценой. Р. Рапен — автор важнейшего для предшествующего, семнадцатого, столетия трактата о садоводстве писал, что в регулярном саду царят ее законы. Люди следующего века как представление воспринимали уже саму природу, которая в пейзажном парке пришла в движение, наполнилась различными настроениями. «Нужно ли идти в парк как на спектакль?», — вопрошал Ш. де Линь и, отвечая утвердительно, разъяснял, что там нужно совершать прогулку именно для того, чтобы сквозь призму сумерек или восходящей Авроры смотреть «очаровательный спектакль» [2]. Ш. Ваттле был склонен видеть в пейзажном парке сходство не столько с живописными картинами, сколько с драматическими сценами [3].

В парке велась игра и с самой природой. Фр. Езерский писал, что здесь благодаря оранжереям и теплицам февраль имитирует тепло августа, поэтому «садовое искусство предстает как театр природы, в котором подобно актерам, один месяц играет роль другого» [4].

Театральность, а следовательно, и условность паркового существования определялась также тем, что творимый там мир не был отражением его реальной гармонии, а лишь попыткой смоделировать его в качестве такового, что не нарушало, согласно тогдашним представлениям, граней правды. «Что же такое театральная правдивость? Это соответствие действий, речи, лица, голоса, движений идеальному образу, созданному воображением поэта» [5], — писал Д. Дидро. Такой идеальный образ — образ «естественного человека» присутствовал и в саду философов. Его роль должен был сыграть обитатель этого сада.

Длительное господство высоких жанров определило четкую дистанцию между героем художественного произведения и его рецептором. Читатель никогда не отождествлял себя с царственным героем трагедии. В XVIII в. с нарушением границ жанров, их «снижением», утверждением в искусстве рядового героя, для читателя, как и для автора, стало возможным подставить себя на его место — к этому призывали и создатели сентиментальных романов, чей лик постоянно просматривается сквозь мысли и поступки персонажей. В процессе чтения человек, как бы перевоплощаясь в действующее лицо произведения, переживал за его судьбу, как за собственную, в качестве своих принимал его радости и несчастья, утопически проецировал на себя *happy end*'ы, которые были столь распространены в сочинениях той проникнутой оптимизмом эпохи. Героини чувствительных романов выступают образцом для подражания, вытесняя в данной роли святых. Об этом сожалел И. Красицкий, упоминая об именах Памелы и Филемона, которые начали давать польским детям [6, с. 535].

Подобным образом обитатели пейзажного парка становились Дафнинами и Хлоями, а его павильоны и лужайки заселялись литературными или мифологическими персонажами<sup>2</sup>, среди которых люди XVIII в. чув-

<sup>2</sup> Ф. Князьнин, по его словам, в поэме «Воздушный шар» населил пулавский «розовый сад» сифлами, которые описаны А. Попом в поэме «Локон» [7] — XVIII в. любил не только «театр в театре», но и «литературу в литературе».

ствовали себя как дома, и в одежды которых они могли облекаться (в прямом и переносном смысле). В их мир они также погружались, удобно расположившись с книгой в руках в тени деревьев, чтобы «размышлять над несчастьями Памелы или Элоизы» [6, s. 115].

Сближение героя и читателя не означало фамильяризации их отношений. Они оставались в сфере «изящного». При этом читатель свободно перемещался из бытовой сферы в сферу эстетическую и обратно. В этих условиях искусство не только входило в жизнь, в повседневное окружение человека, но реальная жизнь одновременно становилась как бы «жизнью в искусстве», между ними стиралась четкая граница. Тем более ослаблялось ее ощущение в парке, в силу своей изначальной специфики стоящего на грани искусства и действительности, развертывающегося одновременно в реальном и в художественно-эстетическом пространстве.

Пребывание в саду давало основу для «игрового переживания пространства» [8]. При этом актер и зритель совмещались в одном лице. Как писал о садах Ж. Делиль, «Блистательный театр, где каждый посетитель//В шуму веселий сам и зрелище, и зритель» [9]<sup>3</sup>.

Садовое пространство могло сливаться с условным, сценическим в реальности. В пейзажных парках постоянным элементом были расположенные на открытом воздухе зеленые театры. Архитектура театра в Лазенках, восходящая к античному прототипу, состояла из расположенной на сцене руины-колоннады и соединенного с ней бассейном зрительного зала-амфитеатра, что в целом образовывало единое обрамление, в котором без дополнительных аксессуаров могли играть спектакли на античные сюжеты<sup>4</sup>.

В парке театрализовались различные повседневные события — к приезду гостей срочно сгоняли на газоны крестьян и овец, чтобы сделать их участниками садового спектакля. Сам осмотр парка превращался в тщательно отрежиссированное зрелище, часто с музыкой, с точно рассчитанными на зрителя эффектами.

Театральное действие и реальность неразрывно сливались во время всевозможных праздников. Посетив Лазенки, современник отмечал, что там прекрасные представления в садовом театре соединялись с «сельскими играми и забавами, катаниями по воде, которые, совершаясь при луне и музыке, имели много разнообразия и очарования» [10]. В описании К. Н. Сапеги праздника в Повонзках, во время которого И. Чарторыская в окружении нимф и зефиров плыла по Висле на остров, неотделимы реальность и поэтический вымысел [11].

Инсценированные сцены так непосредственно вплетались в естественный ход событий, что при этом часто достигалась иллюзия их полного единства. Как описывает И. Чарторыская, во время праздника те из гостей, которые «не были знакомы с местными обычаями», приняли придуманное ею шествие арабских коней и верблюдов за настоящий торговый караван [цит. по: 12, s. 143].

Слияние реальности и искусства, театральная двойственность имели место и в тогдашней живописи. Так, в картинах Ж. П. Норблена исследователи отмечали столь тесное соединение впечатлений от реальных польских пейзажей и реминисценции голландской живописи, что трудно определить первоисточник.

Парковой атмосфере в целом была присуща амбивалентность эмоциональных состояний, неопределенность чувств (двойственным чувством,

<sup>3</sup> Перевод А. Ф. Воейкова.

<sup>4</sup> Один из таких — «исторический балет Клеопатра», поставленный в 1791 г. в лазенковском театре, запечатлен в акварели Ж. П. Норблена.

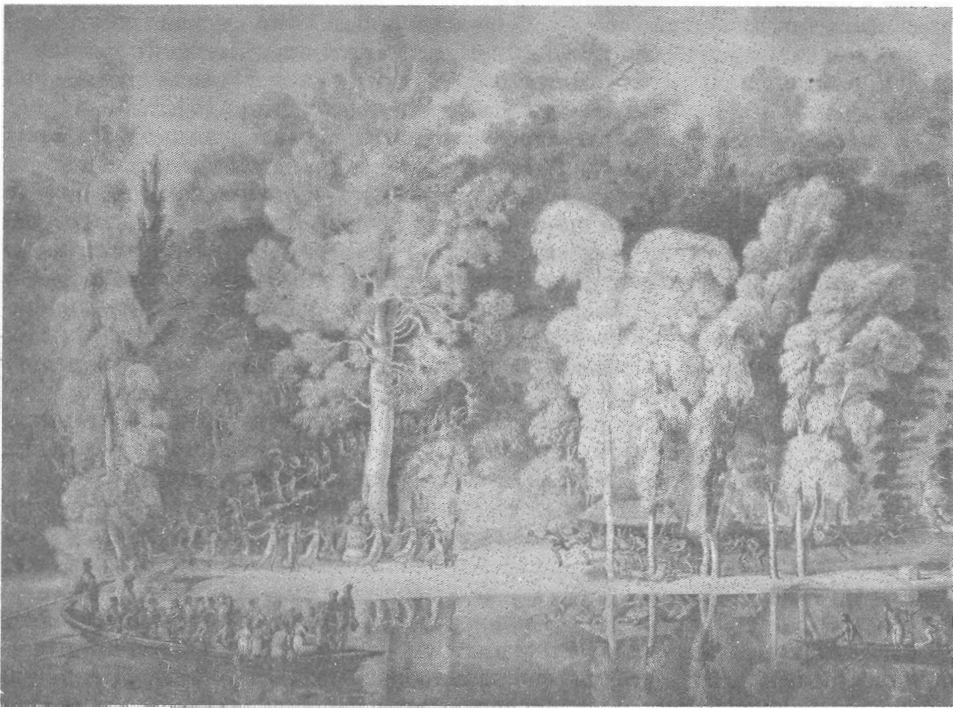


Рис. 1 Ж. П. Норблен. Праздник в Пулавах

соединяющим радость и печаль, была модная меланхолия). Обитатели пейзажных парков все делают «как бы от скуки, как бы от игры» [6, s. 115], балансируя на грани игры и искреннего чувства.

В изображении Ж. П. Норбленом Повонзок запечатлена поэтическая атмосфера влюбленности, ухаживания, кокетства, свойственная рокайльному парку, как и тогдашнему театру, и позволяющая вспомнить о картинах Ватто, Ланкре, Фрагонара, проникнутых поэзией театра. Эта атмосфера чувствуется как в непосредственных зарисовках сцен парковой жизни, так и в картинах, написанных по ее мотивам и являющихся соединением реальных впечатлений с идеальными представлениями об утонченном существовании на лоне природы, со стереотипностью *fêtes galantes*.

В парке жили театральная мистификация и интрига, которые были в моде и, как писал Л. Семеновский, «могли хорошо пользоваться дикими променадами, домиками отшельников и тенистыми островами, обязательными в каждом парке» [цит. по: 12, s. 116].

Эпоха Просвещения особое значение в формировании человеческой личности придавала окружающей среде, поэтому парковое пространство, формы его обитания продуманно организовывались и служили удобной сценой для материализации просветительских идей.

Естественные манеры, принципы «естественного» поведения в парке противопоставлялись регламентированному этикету, который выступал необходимым выражением иерархизации тогдашнего общества. «Я испытываю антипатию к притворству этикета, хотя я знаю, что время от времени он необходим», — писал Станислав Август [13]. И если его жизнь в королевском замке подчинялась придворному церемониалу [14], то в Лазенках, по свидетельству современников, он выступал как частный человек, непринужденный собеседник, внимательный слушатель.

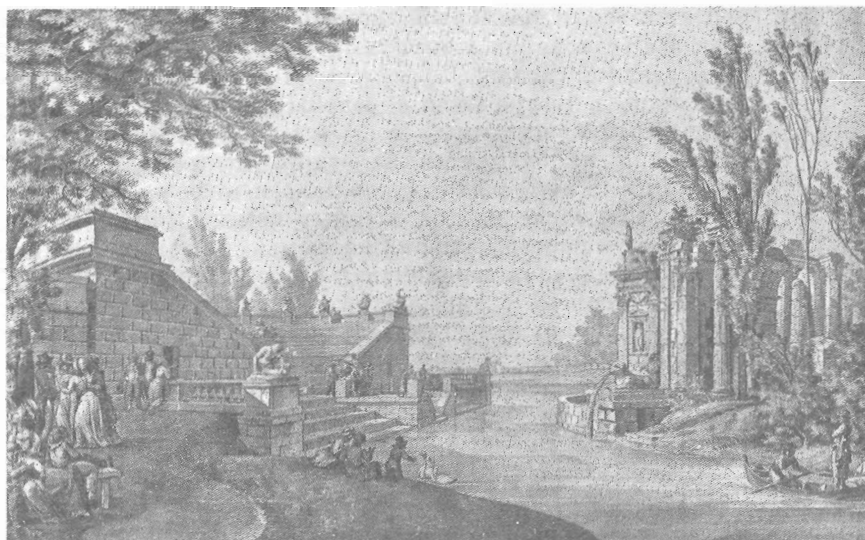


Рис. 2 Я. Х. Камзетцер. Театр в Лазенках

Парковым перевоплощениям в «естественного человека» способствовали садовые туалеты. Прекрасные пастушки и садовницы, которые появлялись в спектаклях авторов XVIII в., обитали и в пейзажных парках. Переодевание служило не только развлечению, но и давало возможность перевоплощения, вживания в образ близкого природе «естественного человека» и тем самым позволяло реализовать просветительскую социально-этическую программу.

Образ театра постоянно присутствовал в парке, но и образ сада стал важным элементом театра XVIII в.<sup>5</sup> На протяжении этого столетия на сцене театра, наряду с архитектурными урбанистическими фантазиями, следующими барочной традиции, все чаще появлялись картины природы, воспроизведенной в видах пейзажного парка. Как и в садах, здесь использовались необработанные природные материалы, сооружались подобные садовым экзотические китайские, турецкие, а также псевдоготические павильоны. В пьесе В. Богуславского «Мнимое чудо, или Краковяне и горцы» на сцене Национального театра (1791) был представлен типичный садовый павильон в виде замшелого ствола старой вербы. Подобные ему не сохранились в парках, но его изображение можно видеть на акварели Ф. А. Лорманна, где показана одна из сцен этого спектакля. По проекту А. Смуглевича романтический парковый грот с готическими сводами, окруженный скалистыми камнями и цепляющимися за них деревьями, украшал представление «Волшебной флейты» В. А. Моцарта (1802). Сад с беседкой был изображен в декорациях оперы В. Богуславского «Аксур» (1793), а в комедии Ф. Орачевского «Развлечения, или Жизнь без цели» (1777) второй акт происходил в конкретном варшавском Саксонском саду, там были видны «в глубине сцены особы, прогуливающиеся по саду, а на первом плане староста с чесноковой около киоска, в котором продают лимонад» [цит. по: 15, с. 256] — он пользовался популярностью и многократно упоминался современниками. Но на

<sup>5</sup> Показательно, что создателями двух очень различных парков — рокайльно-миниатюрного Мюссе и сентименталистского, широко раскинувшегося Павловска, которые послужили образцами для многочисленных подражаний, были художники-декораторы Кармонтель и П. Гонзаго.

сцене мог изображаться и реальный деревенский пейзаж с его избами и корчмами, как в «Краковянах и горцах».

В XVIII в. оказались связаны прогулочный и театральный костюм — пастушки и садовницы в театре были облачены в платья панье<sup>6</sup>, которые служили и придворным прогулочным костюмом. В женскую моду вошли высокие трости — один из элементов балетного пасторального костюма [цит. по: 15, с. 266]. Из него в одежду пришла и мода на букеты искусственных цветов, в том числе из драгоценных камней [16]. Театрализованный характер имел и способ ношения костюма, который вплоть до конца столетия во многих случаях ограничивал свободу движений.

Таким образом, жизнь и сцена, природа и сцена соединялись различным образом. Искусство и действительность, не отождествляясь ни в эстетической теории, ни в художественной практике, активно взаимодействовали, создавая специфическое пограничное пространство, наличие которого составляло одну из важных особенностей культуры XVIII в.

*СВИРИДА И. И., д-р историч. наук,  
ведущий научный сотрудник ИСБ*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шуллер Ф. Собр. соч. Т. VI. М., 1957, с. 693.
2. *De Ligne Ch.* Coup d'oeil sur Beloeil. Beloeil, 1781, s. 132.
3. *Watelet Ch.-H.* Essai sur les Jardins. Paris, 1774, s. 58.
4. *Jezierski F. S.* Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane.— In: *Jezierski F. S.* Wybór pism. Warszawa, 1952, s. 229.
5. *Дидро Д.* Эстетика и литературная критика. М., 1980, с. 548.
6. *Krasicki I.* Dzieła. Berlin, 1845.
7. *Kniaźnin F.* Balon. Piesn siódma.— In: *Kniaźnin F.* Dzieła. Warszawa, 1928, s. 59.
8. *Раннопорт А. Г.* Пространство театра и пространство города в Европе XVI—XVII вв.— В сб.: Театральное пространство. Материалы научной конференции. М., 1979, с. 208.
9. *Делль Ж.* Сады. JL, 1987, с. 133.
10. *Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców.* Opr. i wstęp S. Zawadzki. Т. II. Warszawa, 1963, s. 545.
11. *Sapieha K. N.* Do J. O. ks. Czartoryskiej.— In: *Zabawy przyjemne i pożyteczne.* Т. 4. Warszawa, 1771, cz. 1, s. 49—52.
12. *Siemieński L.* Dzieła. Т. I. Warszawa, 1881.
13. *Correspondance inédite du Roi Stanislas-Auguste Poniatowski et de Madame Geofrin (1764—1777).* Opr. Ch. de Mouij. Paris, 1875, s. 194.
14. *Rottermund A.* Zamek warszawski w epoce Oświecenia. Rezydencja monarsza, funkcje i treści. Warszawa, 1989, s. 22—24.
15. *Wierzbicka-Michalska K.* Teatr w Polsce w XVIII w. Warszawa, 1977.
16. *Мерцалова М. Н.* История костюма. М., 1972, с. 127.

#### «ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО НАРОДА НАШЕГО»

После октябрьского диплома 1860 г., положившего конец баховской реакции, в Чешских землях стремительно двинулся к своему логическому завершению насильственно прерванный в результате поражения революции 1848—1849 гг. процесс становления чешской нации нового времени. Не стоило бы начинать рассуждения о чешском театральном искусстве 1860-х годов столь громыхающей «базисообразной» фразой, если

<sup>6</sup> На особого рода каркасе.

бы не существовал тот непреложный факт, что едва ли не первой общенациональной целью, поставленной перед чешским обществом его лидерами, стала немедленная реализация требования полной самостоятельности чешского театрального процесса. В самом деле — в центре Европы народ, уже давно предъявивший убедительные доказательства своей европейской исконности и родовитости, в своей столице, одном из самых красивых и культурных городов Старого Света — Праге, не имел собственного театра. Пражской труппе, единственной чешской профессиональной труппе, как сейчас сказали бы, стационарной, позволялось выходить на сцену Сословного театра только раз в неделю — в воскресные послеобеденные, мало удобные для публики часы. И не долее, чем до половины седьмого вечера. Репетиции урывками, пьесы произвольно укороченные, финансовые прорехи, латаемые исполнением третъестепенных ролей в немецких спектаклях.

И как ракета к наступлению — уже в первом номере крупнейшей чешской политической газеты «*Národní listy*» (1 января 1861 г.) В. Галек от имени всей нации заявляет: «Мы хотим — и немедленно, пока у нас нет собственного театра, — половину вечеров в Сословном театре — для чешских представлений, вторая половина пусть останется немцам» [1].

«...Пока у нас нет собственного театра...». Но путь к собственному театру к этому моменту уже понятен каждому патриотически настроенному чеху. Все единодушны в необходимости осуществить наконец-таки мудрую идею Й. К. Тыла, высказанную им еще в апреле 1848 г. на страницах журнала «*Věsta*» в знаменитой статье «„Опасное“ вступление» в форме вопроса-призыва: «Не удалось бы нам теперь выстроить храм национальной Музы на средства нации?» [2] и приведшую к конкретному шагу в этом направлении — появлению в 1850 г. «Общества по созданию Чешского национального театра в Праге».

Спор идет лишь о том, как это сделать. Ф. Л. Ригер и его сторонники настаивают на необходимости срочно добиваться в земском сейме решения о безотлагательном возведении на средства земского бюджета хотя бы небольшого театрального здания для чешской труппы. Ригер слишком хорошо помнит, как резко изменилась политическая ситуация двенадцать лет назад, когда решение театрального вопроса в пользу чешского населения Праги казалось делом ближайших дней, он не желает рисковать, упустить благоприятные политические обстоятельства для постройки пусть скромного, временного, но чешского театра. Финансовое положение «Общества» в этот момент не позволяло надеяться на то, что оно в скором времени сможет приступить к реализации своей задачи.

Аргументы противоборствующей стороны — будущих младочехов В. Сладковского и его окружения — сводились, главным образом, к гипотетическому опасению, что появление промежуточного, «временного» звена в осуществлении генеральной идеи Тыла снизит накал национальных усилий в этом направлении и отдалит момент окончательного завершения борьбы за национальный театр, миссия которого виделась им не только в подъеме художественного уровня сценического искусства, но и в демонстрации жизнеспособности и зрелости чешской нации вообще.

21 января 1862 г. Ригер провел через земский комитет решение о строительстве в Праге временного театра для чешской драматической и оперной труппы на средства земского бюджета в размере 80 тыс. злотых, а «Общество», со своей стороны, дало принципиальное согласие на инициативу земских учреждений и передало в их ведение часть земельного участка на берегу Влтавы, приобретенного им под застройку еще в 1852 г., оговорив — «когда рядом будет выстроено здание национального театра, то временный театр станет либо его частью, либо перейдет в его собственность» [3].

Пражский Временный театр был открыт 18 ноября 1862 г. Здание, вмещавшее около тысячи зрителей и отличавшееся строгой элегантностью и простотой, было построено в течение шести месяцев талантливым архитектором В. Й. Ульманом, создателем многих монументальных общественных зданий в чешской столице. Ульману удалось мастерски распорядиться небольшим земельным участком и скромными средствами. Потолок, украшенный пышной лепкой в стиле Ренессанса, был расписан Я. Коуцким, отцом будущего знаменитого социал-демократического деятеля Карла Кауцкого, пейзажистом и театральным декоратором, основателем известной венской фирмы по производству театральных декораций. Коуцкому принадлежали также эскизы занавеса, на котором были изображены памятные места Чешской земли — Пражский град, Тын, Вышеград, Бланик, Ржип.

Своевременность появления пражского Временного театра, о котором главный его художественный и эстетический наставник Я. Неруда писал, что «это единственный возможный переход к достойному большому театру», его необходимость как естественного звена в развитии чешского театрального искусства полностью подтвердилась последующими двумя десятилетиями (1862—1883). Официальный статус («королевский», «земский») и автономное положение Временного театра, улучшение его материальной базы способствовали значительному подъему профессионального уровня, росту исполнительского и режиссерско-постановочного мастерства, увеличению объема репетиционных и учебных занятий, расширению состава драматической и оперной труппы, декорационных, костюмерных и иных вспомогательных служб. Без преувеличения, «в 60-е годы впервые театральные сцены, несмотря на все недостатки, дали возможность консолидировать актерский ансамбль и заложить фундамент для художественной деятельности в будущем большом театре — национальном» [4].

На сцене скромного здания на берегу Влтавы еще ярче заиграло дарование европейского масштаба Й. Й. Колара, признанного адепта романтического стиля; второе дыхание появилось у старых актеров «тыловской дружины» И. Кашки и М. Гинковой, раскрылись многосторонние дарования Франтишка Колара, гранились таланты молодых актеров, перед которыми открывалось блестящее будущее, — И. Мошны и О. Скленаржовой-Малой.

Появление Временного театра благотворно отразилось и на других областях художественной культуры. Так, задача расширения собственного репертуара, решавшаяся молодым театром («сначала здесь играли три раза в неделю, а начиная со второго сезона — уже каждый день») [5], послужила толчком для роста отечественной драматургии. Для Временного театра писали многие ведущие литераторы тех лет — Я. Неруда, В. Галек, Й. В. Фрич, Ф. В. Ержабек, Э. Боздех. Наиболее распространенным был жанр исторической трагедии («Барон Герц» Боздеха, его же «Эпоха котильонов»), тогда как драма, созданная на материале современной жизни, появляется во Временном театре уже к концу 60-х годов («Слуга своего господина» Ержабека и др.).

Подлинного триумфа добивается на сцене Временного театра чешская опера, основу которой составили классические произведения Б. Сметаны. в течение десятилетия возглавлявшего музыкальную часть театра — «Бранденбургцы в Чехии», «Проданная невеста», «Две вдовы».

Наконец, красноречивым фактом, подтверждающим чрезвычайное значение Временного театра для чешской культуры 60—70-х годов, было активное освоение обеими труппами театра лучших образцов зарубежного драматургического и оперного творчества. Это великие произведения Шекспира, Мольера, Шиллера, современная русская реалистическая дра-

ма во главе с гоголевским «Ревизором», шедевры русской оперы — «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила» Глинки.

Многолетняя, упорная, перемежавшаяся успехами и неудачами борьба за самостоятельность профессионального чешского театра, активная агитация среди самых широких слоев чешского населения «Общества по созданию Чешского национального театра в Праге», проводившего через специально созданную в городских кварталах сеть агитаторов сбор средств на постройку здания и распространявшего десятками тысяч экземпляров различные печатные материалы, подписные листы, воззвания, устройство благотворительных балов и лотерей, выдвижение «театрального вопроса» во главу национально-культурных и политических требований к австрийскому правительству, острая полемика в печати, какая из предлагаемых программ лучше послужит решению проблемы — все это воспитывало обостренное отношение патриотически настроенных чехов к любому нюансу касательно судьбы чешского театра. Смысл этого массового национального порыва исчерпывающе выражал девиз, осенявший все, что было связано в эти десятилетия с театром: «Народ — себе».

Атмосфера особой благоговейности и пиетета к деятельности обеих групп молодого театра — драматической и оперной — не могла не привести в действие закона обратной связи, и в 60-е годы актеры, режиссеры, музыканты, художники Временного театра создают образцы самого синтетического из искусств, достигают высокого уровня театральности, которая является выражением, воплощением того специфического, что и составляет сущность театрального искусства, т. е. материализует те качества художественного проявления духа, которые возможны единственно в театральном искусстве. Разумеется, понятие театральности, сколь бы упорно ни подвергалось оно интеллектуальному препарированию, «содержит нечто мистическое, слишком общее, даже идеалистическое» [6]. Видимо, достаточно остаться в рамках определения театральности, принадлежащего Р. Барту: «Это театр — минус текст, это насыщенность знаков и впечатлений..., всеобщее восприятие чувственных приемов, жестов, тонов, дистанций, субстанций, света, какое наводит текст избытком его внешнего языка» [6]. При этом в поисках столь трудно фиксируемой театральности в сценическом создании следует преследовать не семиологические цели, т. е. опознавание знаков ради установления связей между ними и законов их соединения, а реальные герменевтические задачи, т. е. интерпретацию спектакля, постановки ради передачи их смысла с учетом позиции высказывания и оценки исполнителя.

Хрестоматийным примером высокой художественности стали шекспировские образы, воплощенные на сцене Временного театра Й. Й. Коларом и его племянником Фр. Коларом. Игра дяди-романтика отличалась естественной приподнятостью, соразмерной страстям, бурлящим в шекспировских драмах, философской величавостью, декламационностью, с обязательным подчеркиванием музыкальной ткани словесного материала. Колар целеустремленно вводил в чешское театральное искусство высокие критерии европейского театра.

Подлинным украшением целой коллекции шекспировских образов, в которых в полной мере смогло раскрыться колоссальное дарование Колара-трагика, был король Лир. Неруда писал: «Лир уже сам по себе великан по своей поэтической и мыслительной силе, является одновременно вызывающей наибольшую гордость драгоценностью актерского чешского искусства. Когда мы видим г-на Колара-старшего, первого нашего трагика, в этой гигантской роли, мы гордимся чешским талантом» [7].

Иными средствами, в иных ролях, исповедуя иные художественные принципы, достигал сценического совершенства, яркой зрелищности



и меткой социальной и эмоциональной характеристики Фр. Колар, актер реалистического направления, бессменный исполнитель роли Городничего во всех спектаклях «Ревизора» во Временном театре. Постановка «Ревизора», успех которого во многом был связан именно с Коларом-Городничим, была осуществлена с почти последовательным проведением принципов реализма, который с конца 60-х годов постепенно становится ведущим методом во Временном театре, исподволь переключивая на провинциальные сцены. Своим Городничим Колар преподавал пример психологического проникновения в драматический образ, позволяющего подступиться к вершинам типизации. Гоголевская комедия в интерпретации Фр. Колара и его соратников — Й. Мошны, Ф. Ф. Шамберка была с восторгом принята пражской публикой. Высмеянные гоголевские чиновники были столь близки своим австрийским собратьям, что реприза следовала за репризой, а неистовство зрительской реакции не затухало.

Безошибочность выбранных сценических средств, приумноженная гениальной мелодикой, приводит к рождению на подмостках Временного театра подлинного шедевра национальной культуры — первой чешской народно-музыкальной комедии реалистического жанра — «Проданной невесты» Б. Сметаны. Пестрые, сочные картины крестьянской жизни, стихия откровенного простонародного юмора вкупе с умелым использованием средств музыкальной выразительности, накопленных вековой народной культурой, подчеркивали и обуславливали самобытность и новаторство оперы, обретшей адекватное сценическое воплощение. Взаимопроникновение музыкального и сценического начал удваивало эмоциональное воздействие на зрителя, заставляло его понять, что все происходящее при всей яркой комичности и веселости касается будущего людей, их счастья либо несчастья. Главные герои Марженка и Еник и другие персонажи — это реальные люди реальной чешской действительности, и в их конкретной судьбе воплощена судьба всего народа, духовные основы бытия которого питаются его историей, традициями, древней культурой.

Таинственная субстанция театра, эта неуловимая и редкая гостья — театральность — едва ли не в кристально чистом виде проявлялась тогда, когда происходило полное слияние игрового пространства (сцены) и пространства, откуда можно смотреть (зала), актера на сцене и зрителя в зале. Так случилось во время легендарного в истории чешской культуры шествия шекспировских героев в один из дней (23 апреля 1864 г.) шекспировского фестиваля, посвященного 300-летней годовщине рождения великого драматурга. В фестивале принимали участие лучшие художественные силы чешской столицы — «Umělecká beseda», творческое объединение литераторов, художников, музыкантов, национальный хор «Глагол пражский», культурно-спортивное патриотическое общество «Сокол», драматическая и оперная труппы и оркестр Временного театра, скрипичный ансамбль консерватории, вокалисты пражских храмов. Шествие шекспировских героев, в котором участвовало около 250 профессиональных актеров и актеров-любителей, стало кульминацией фестиваля. К шествию, происходившему на сцене огромного Новоместского театра, Б. Сметана написал торжественный марш. Композиция шествия и эскизы костюмов, решенные в празднично-романтическом духе, принадлежали одному из самых значительных чешских художников XIX в. К. Пуркине.

У всех, кто находился в тот вечер в Новоместском театре, это зрелище навсегда оставило неизгладимое эстетическое и эмоциональное впечатление. Один из современников писал: «Шествие открывает Кориолан, за ним Цезарь, потом кровожадный Шейлок..., темный Отелло..., прекрасная Дездемона, своенравная Виолетта..., немеркнувший пример чистой

любви — Ромео и Джульетта. Гамлет... с несчастной Офелией..., словно из гранита изваянные персонажи королевских драм — Генрихи и Ричарды..., сломленный страданиями Макбет..., Фальстаф... Всех захлестнула волна восторга, какое-то время публика словно находилась в царстве грез и мечтаний, встречала некоторых персонажей особенно радостными приветствиями, предчувствуя, что увиденное будет наслаждением неуязвимых воспоминаний» [8].

Особую значительность шествию придавало то обстоятельство, что в нем принимали участие многие популярные деятели национального движения и культуры того времени. Например, «темного Отелло» изобразил Й. Барак, известный политический деятель-младочех, в костюме Гектора был облачен М. Тырш, педагог-мыслитель, основатель «Сокола» и т. д.

Своеобразным проявлением театральности стали весьма популярные в 60-е годы «живые картины», которые первоначально были связаны с драматическими текстами или определенными кульминационными сценами тех или иных спектаклей, но постепенно обрели жанровую самостоятельность. Таковы были живые картины к поэме «Ярослав» по Краледворской рукописи, к шекспировским (1864) и дантовским (1865) торжествам, исторические «Смерть Жижки», «Гуситский лагерь перед сражением». Плодовитым автором живых картин зарекомендовал себя Ф. Колар, который обладал незаурядным талантом рисовальщика, окончил в свое время Академию художеств и регулярно сотрудничал в различных немецких иллюстрированных изданиях. Живые картины выносились на суд зрителей не только в связи с тем или иным торжественным мероприятием, они могли, например, быть показаны сразу же после какого-то спектакля, зачастую не будучи с ним тематически связаны. Главное их назначение состояло в актуализации определенных тем реальной общественно-политической жизни, чаще всего через призму истории, что вызывало почти всегда активную реакцию публики.

Особая взаимная ангажированность в отношениях между обществом и театром вела к появлению элементов театральности, или, точнее, театрализации, в самых неожиданных сферах культурной жизни. Прием сценического искусства всегда сопутствовали певческим слетам, устраивавшимся национальным певческим обществом «Глагол», основанным в 1861 г. К этим слетам готовились во всех уголках Чехии, они становились фестивалями национального хорового исполнительства, и театрализованное оформление способствовало их успеху и глубокому воздействию на массового слушателя и зрителя.

Без режиссуры, упорядочившей пространство и движение, нельзя было представить и деятельность физкультурного общества «Сокол», организованного М. Тыршем. Фрагменты сценического искусства вводились в систему коллективных упражнений и тренировок совершенно логично уже по той причине, что в учении Тырша античные идеалы гармонического сочетания физического и духовного начала в человеке были тесно связаны с эстетическими и нравственными принципами. Более того: Тырш в своей эстетической теории относил физическую культуру к пространственным искусствам, таким, как пластика и скульптура. Во время же массовых соколовских выступлений, естественно, возникали проблемы упорядочения пространства.

Специфической чешской формой политического и культурного самовыражения оказались на рубеже 60—70-х годов так называемые народные таборы (в виде митингов, шествий, лагерей), опиравшиеся на революционные гуситские традиции и охватившие все земли чешской короны. Элементы театрализации, усиливавшие психоэмоциональную сопричастность каждого индивидуума общенациональному действию, были свойст-



Рис. 3 Шествие во время закладки Национального театра в Праге. Рисунок. 1868

венны в той или иной степени каждому такому табору и зависели лишь от объемов подготовительной работы и тех сценических приемов, которые предпочитали приглашенные к участию в шествиях режиссеры, актеры, музыканты. Таковы были таборы, посвященные 500-летию со дня рождения Яна Гуса, 70-летию патриарха чешской историографии Ф. Палацкого и др.

Гармоническое соединение профессионального мастерства актеров и режиссеров, музыкантов и художников, смешение элементов драмы, оперы, народной фразки, балетного и изобразительного искусства, рождающее таинственную субстанцию театральности, величественная театрализация политического акта, естественное влияние эмоциональных и эстетических переживаний исполнителей и зрителей, создающее эффект «театра участия» — все это ярко и синхронно заявило о себе 16 мая 1868 г. в Праге на одной из грандиознейших национальных манифестаций в истории Чехии, посвященной закладке фундамента Национального театра.

Столичным торжествам предшествовали грандиозный народный табор на Ржипе, полная благоговейности перевозка массивных камней с исторических мест Чешской земли — Ржица, Бланика, Радошта, Табора. Вдоль дорог, по которым следовали повозки и сопровождающие их кортежи, стояли сотни тысяч чехов, демонстрировавших личную поддержку общенациональной акции.

16 мая жители столицы, представители всех чешских городов и общин, делегаты из славянских стран — России, Галиции, Сербии, Словении, Лужиц, Словакии объединились в огромную процессию, которую возглавили члены «Общества по созданию Чешского национального театра», облаченные в национальные костюмы, сокольские союзы, цехи ремесленников в историческом убранстве, студенческие корпорации, рабочие во главе с шахтерами Кладно. Процессия направилась к берегу Влтавы, где на строительной площадке, в нескольких десятках метров от Временного театра, состоялась торжественная закладка фундамента Национального театра. Праздничное шествие было аранжировано Фр. Коларом в соответствии с историческим маршрутом и регламентом коронационного шествия чешских королей.

Выступавший на манифестации В. Сладковский — один из лидеров младочешского крыла — говорил об исключительной роли театра в жизни чешского народа и в «эпоху тьмы», и в будительский период в пред- и послереволюционные годы: «Театр был последним публичным учреждением, где язык наших отцов сохранялся несколькими верными их сыновьями, пришла пора, и театр стал публичным учреждением, откуда наш язык с такой заботливостью был возвращен снова нашему народу. Театр был последним публичным учреждением, которое сохраняло и укрепляло национальное самосознание — пусть в горстке людей — пришел час — театр стал первым публичным учреждением, из которого лучи национального самосознания мощно и глубоко расходятся в самые толщи нашего народа. Театр был последним душеприказчиком вымиравшего и первым помощником выздоравливающего народа нашего» [9].

Эпоха Временного театра — яркая глава в истории чешской театральной культуры, когда сценическое искусство, вдохновляясь идеями национального самоутверждения и ощущая реальную поддержку прогрессивных слоев общества, смогло достичь в лучших своих образцах подлинной театральности, добиться проникающего эмоционального и эстетического воздействия на демократического зрителя, воспитывая в нем представителя нации и носителя национальной культуры.

1. Hálek V. O umění. Praha, 1955, s. 167.
2. Тыл И. К. Театр. М., 1957, с. 557.
3. Hof K. V. Dějiny velkého národního divadla v Praze. Praha, 1868, s. 35.
4. Dějiny české literatury, sv. III. Praha, 1961, s. 91.
5. Sípek K. Vzpomínky na Prozatímní. Praha, 1918, s. 20.
6. Паси П. Словарь театра. М., 1991, с. 365.
7. Neruda J. České divadlo, sv. III. Praha, 1954, s. 329.
8. Volavka V. České malířství a sochařství 19. st. Praha, 1968, s. 123.
9. Založení Národního divadla, 1868. Vydáno na paměť 50. výročí. Praha, 1918, s. 35.

### КАРНАВАЛИЗАЦИЯ ЖИЗНИ В АВАНГАРДЕ

В ряду разнообразных «выходов» поэтики авангарда на театр как театральность в культуре наиболее существенной представляется тема *карнавала*. Карнавальное начало, объединяющее в себе *игру* и *праздник*, высвечивает наиболее глубинные слои *театра*, восходящие к архаическим слоям культуры, к комплексу ритуально-мифологических обусловленностей слова и действия в их тесной взаимосвязи [1; 2]. Таким образом, *карнавал в авангарде*, карнавальность самого авангарда есть превращенная форма *театральности* данной культуры. При этом следует учитывать, что в отличие от романтической дихотомии *театр/жизнь*, утверждающей не только соединенность, слитность этих сфер как сфер взаимодействия знаковости и незнаковости (в этом поле усиленной знаковости — [театр] — и как бы святой, а по-существу скрытой, иначе кодированной знаковости — [жизнь] — и разыгрывается основная драма), но и их самостоятельность, отделенность друг от друга, в авангарде, несмотря на его тесную связь с традицией неоромантизма, возникает принципиально иная схема театрального: карнавал лежит вне пары *театр/жизнь*, со всей сложностью этого соотношения, в силу того, что он есть уже осуществленный *театр-в-жизни*. Карнавал не отделен от жизни рампой как спектакль от зрительного зала, жизнь же предполагает в себе наличие некоторой карнавальности как необходимого условия своей реализации. Карнавал это та форма «внезаковой» («жизненной») сферы, за счет вовлечения которой в процесс семиозиса происходит расширение художественного пространства авангарда. Вернее было бы сказать, что карнавал есть прием, посредством которого внешне-знаковое преформируется в знаковое. Все это касается поэтики авангарда и лежит целиком в области художественного.

Совсем иная проблема — карнавальная жизнь в контексте авангардной культуры. Здесь карнавал, идея карнавала выступают как средство организации собственно жизни (поведения в быту, строительства судьбы и т. п.) носителями «языка» авангарда. При этом происходит процесс как бы «обратной» семиотизации: жизнь формируется в соответствии с ведущими принципами авангардной поэтики: остранием, сдвигом, перекодировкой и т. п. [3].

Духом карнавальности отмечена вся жизнь и быт московско-ленинградской (петербургской) художественной богемы конца 10-х — 20-х годов [4]. Экстравагантность в одежде, вызывающее поведение в общественных местах, прямой эпатаж публики на выступлениях, стремление к скандалу — все это шло по общему сценарию футуризма европейского. Западные «дада» в этом отношении ничем не отличались от своих русских собратьев. Особенностью последних, может быть, было более глубокое отношение к самой сути карнавальности, что являлось составной частью по-русски более глубокого отношения к жизни вообще и своей жизнотворческой задаче

в частности. Можно сказать, что в культуре русского авангарда карнавальное начало воплотилось наиболее полно и выявилось в своих самых корневых принципах.

Однако очевидно, что не всякое богемно-скандализирующее поведение является карнавальным по сути. Последнее определяется устойчивым набором признаков. Карнавальному переживанию свойственно акцентировать вертикальную ось мира с постоянным переворачиванием полюсов (верха и низа), их взаимозаменяемостью. Последнее является частью глобальной тенденции к двоицным противопоставлениям универсальных культурных символов, общей ориентации системы значений на амбивалентность, двусмысленностью любого «высказывания» [5]. Стирание границ, нарушение норм, игровое выворачивание наизнанку всех признанных иерархий обусловлены заложенным в карнавале обрядовым первоначальным смыслом. Праздник-игра, способствующий циклическому очищению и обновлению жизни, вовлеченной в круговорот космических коловращений, — такое значение карнавала соответствовало взрывной творческой энергии бахтинского кружка «карнавальных людей», утопическому мирозерцанию Малевича, гениальной «инфантильности» Хлебникова. В аспекте ритуальных смыслов карнавал сближается и с утопией, и с тоталитарным мифом, ибо призван бороться с временем человеческой жизни, с ее линейностью, фрагментарностью и уникализмом [5].

В отношении авангарда карнавал интереснее всего раскрывается именно этой своей стороной, т. е. темой преодоления времени, темой *смерти*. Действительно, все другие формы карнавализации жизни в авангарде — эпатаж, раёшность быта, скоморошничанье в организации жизненного пути русских художников-авангардистов — укладываются в схемы любого народного праздника с его перелицовкой норм, опрокидыванием авторитетов, снятием запретов и введением в центр того, что прежде занимало маргинальную позицию. Все это лежит в сфере карнавала как темы ритуальной игры. По традиции игровому осмеиванию в карнавале подлежит и наиболее табуированное — *смерть* (ср. изображения карнавальных плясок смерти в средневековой западноевропейской живописи). Однако это лишь внешнее обозначение темы. Спецификой карнавала является глубинная включенность мотива *смерти-как-нового-рождения* в саму структуру карнавального миро-видения (что еще раз указывает на содержащиеся в карнавале обрядовые смыслы переходности).

Проблема борьбы со временем, выхода в пространство вневременного бытия в авангарде достаточно широко обсуждалось в научной литературе. Менее освещенным остался вопрос об отношении носителей культуры авангарда к времени в самой их жизни. Понятно, что в данном случае сфера так называемой жизни в значительной мере обусловлена общей атмосферой, в которой существовали художники. Здесь «нулевая точка» письма, символическое Ничто, от которых происходил отсчет поэтического пространства-времени новой культуры, в равной степени приложимы и к тому, что находилось за пределами этого отсчета (если эти пределы в принципе вычислимы). Но тема *смерти в жизни*, выходя за рамки собственного творчества, переступая порог жизнестворчества, обретала в биографиях людей той культуры особенную весомость. Многие из них строили свой путь как демиурги, героически преодолевающие косность человеческого времени (Хлебников, Малевич, Филонов).

Особенный интерес представляют случаи, когда карнавализованная самоирония выступает как жизнестроительное средство создания *жизни после смерти*. Действительно, сознанием *жизни после смерти* проникнуто все миропонимание художников, поставивших крест на школьной традиции. И как бы ни были объективно осязаемы их связи именно с этой традицией, субъективное начало отъединенности легло в основу этого пере-

живания. В самой этой отъединенности уже ощущим холод потусторонности. Наиболее яркий пример карнавализованного комплекса *жизни-после-смерти* являют обэриуты.

Обэриуты — это законченный образец карнавального преодоления границ между искусством и жизнью, и вместе с тем, — особенно игрового, и при этом — напряженно-серьезного отношения к дихотомии *жизнь/смерть*. Можно сказать, что в творчестве и судьбе Хармса идея о том, что наше существование есть не что иное, как некий фарсовый *постфактум*, звучит основным лейтмотивом. Жизнь и сама личность Хармса, как они видятся нам по описаниям современников и его письмам, есть постоянная рефлексия этого пребывания по ту сторону яви и постоянное ироническое острашение этой рефлексии с позиций «здравого», т. е. находящегося внутри жизненного пространства, смысла. Идея *постфактума* собственной жизни как макабрической шутки перерастает и рамки юмора, и рамки игры. Перехлестываясь за бортики очистительных функций карнавала, эта идея выходит в жуткое пространство масок, за которыми больше никто не стоит, плясок, которые пляшутся вопреки воле танцоров, хохота, который перерастает в молчание перед откинувшей полог уже не-театральной пустотой. Традиции обэриутовского карнавала в искусстве продолжают феллиниевскими фантазмами, а в «жизни» — нашим сегодняшним бредовым существованием.

*ЗЛЫДНЕВА Н. В., канд. искусствов. наук,  
старший научный сотрудник ИСБ*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Топорова В. Н.* О ритуале. Введение в проблематику. — В кн.: Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988, с. 7–60.
2. *Фрейдберг О. М.* Семантика архитектуры вертепного театра. — Декоративное искусство, 1976, № 12, с. 16–22.
3. *Hansen-Löve A.* Der russische Formalismus. Wien, 1978.
4. *Nikolska T.* Teatralizacija života. — In: Pojmovnik ruske avangarde. Zagreb, 1990, s. 57–63.
5. *Иванов Вяч. Вс.* Из заметок о строении и функциях карнавального образа. — В кн.: Проблема поэтики и истории литературы. Саранск, 1973, с. 37–53.

#### ТЕАТРАЛЬНОСТЬ ВНЕ ТЕАТРА

В широком, выходящем за рамки собственно театра как вида искусства обсуждении проблемы театральности как феномена культуры неизбежно возникает имя Н. Н. Евреинова как теоретика «театрализации жизни» — и в этой связи имеет смысл обращение не только к его работам о монодраме [1] или «театре как таковом» [2], но и — особенно — о «театре для себя» [3] или даже о портретной живописи [4], поскольку в них эта категория предстает в своей масштабности и даже «стихийности», освобожденная от ограничительной и вовсе не всегда обязательной связи с театральным искусством.

Так, Евреинов сочувственно цитирует Б. Виппера, утверждавшего, что «человек должен был научиться играть в людей, мгновенно принимать образ другого для того, чтобы осмелиться запечатлеть этот образ навсегда. Театр и портрет — это результат одной и той же потребности в подражании, в своевольном повторении» [4, с. 69]. Эта мысль близка ему и служит, в частности, для объяснения успеха художника Н. И. Кульбина в написании его портрета: «Причина в театральности Кульбина, той театральности, на которой, как на общей платформе только и мог состоять-

ся наш духовный брак» [4, с. 69]. Таким образом, удача художника в изображении модели, как и их тесное сближение имеют общий источник в их отношении к театрализации жизни: «...театральность, даже больше — театральная гиперболизация! — вот что было в Николае Ивановиче, рядом с недюжинным талантом живописца, самым существенным и предопределяющим. Отсюда наша дружба с ним, наше давнее „на ты“ и уйма портретов, написанных им с меня — как апологета театральности» [4, с. 68]. При этом — судя по теоретическим обоснованиям и практике монодрамы — Евреинову было присуще понимание «субъективного видения» как внутренней централизации театрального действия или разнообразия жизненных проявлений. Так, о своем друге-художнике он писал: «Это был Янус в зной степени и вместе с тем совершенно цельная натура. Лики Януса (ученого, футуриста, врача, богомольца, танцволизатора и пр.) имели все одно начало — волю к театру! к театру в жизни! самую искреннюю и интенсивную театрализационную тенденцию» [4, с. 67]. Примечательно, что в этом возведении разнообразия к цельности и усмотрении ее в театральности обнаруживается типологическое сходство с идеями польского современника Евреинова, теоретика и практика театра, Ст. И. Виткевича, стремившегося к созданию чистой формы в театре во имя достижения «единства в многообразии» [5]. Не имея возможности подробнее останавливаться на сопоставлениях теории и практики Евреинова и Виткевича, отметим лишь возможную полезность такого исследования для выявления общих тенденций в культуре эпохи.

Одной из таких тенденций, в частности, весьма ярко выраженной в эпоху Евреинова и Виткевича, явилось тяготение к театральности в широком понимании, при котором ее отношение к собственно театру можно уподобить отношению, например, комического (как категории) — к комедии, или трагического — к трагедии. Представляется, что в истории культуры эпохи такого рода (к ним можно отнести позднее средневековье, барокко, романтизм) с их педалированной, подчеркнутой, едва ли не всепроникающей, доминирующей театральностью чередуются с иными по характеру эпохами (к ним можно отнести, например, Ренессанс, классицизм, реализм), в которых театральность не то, чтобы отменяется вовсе, или снимается, но как бы приглушается, отходит на второй план, подчиняется каким-то вне ее лежащим целям, так сказать, снижается ее удельный вес в культуре. Так — схематически — будет выглядеть смена культурных эпох по признаку наличия/отсутствия театральности, если принять концепцию их маятникообразного движения (Д. Чижевский, Ю. Кшижановский). Но кроме этого обнаруживается, что наличие/отсутствие театральности может зависеть не только от эпохальных чередований, но и от характера местной культуры (так, Л. А. Софронова показывает, что театральность может «уйти» и из театра, если таковы экспектации культурной среды), от склада конкретной творческой личности.

В эпохи доминирующей театральности ее печать ложится и на частное, публичное, общественное поведение людей. Таков, согласно исследованиям Ю. М. Лотмана, русский XVIII в., когда «бытовая жизнь приобретала черты театра», такова эпоха романтиков, завершившаяся в 1840-е годы, однако впоследствии поэтика поведения «воскреснет в 1890—1900 гг. в биографиях символистов, „жизнестроительстве“, „театре для одного актера“, „театре жизни“ и других явлениях XX в.» [6]. По-видимому, менее зависит от характера эпохи театральность поведения государственных и общественных деятелей, осознающих себя пребывающими на исторической «сцене». Поэтому в высшей степени неслучайным представляется применение театральных терминов, понятий и оборотов речи в соответствующих исследованиях: «идя путем структурного анализа, мы предпочитаем поставить вопрос, какими „голосами“ говорит (przemawia) Валенса и како-



вы их взаимные связи» [7, с. 84]; «магические формулы, встречающиеся в языке Валенсы... непередаваемы на язык конкретных действий, они призваны воздействовать по принципу *deus ex machina*» [7, с. 87]; «эти категории относятся к постоянному репертуару Валенсы» [7, с. 89]; «все актеры общественной сцены должны четко определить, чем и кем они являются... и тогда общественная жизнь и политический процесс обнаружат присущую им внутреннюю простоту» (по убеждению объекта этого описания.— В. М.) [7, с. 90]. Таким образом, театр, театральность выступает и в качестве кодирующего, и в качестве декодирующего механизма поведения человека — в данном случае нашей эпохи.

Театральным кодом — особенно в эпохи доминирующей театральности — могут кодироваться не только поведение, но и разные виды искусства, жанры и отдельные произведения. «Наиболее распространенным является случай, когда объект изображения кодируется сначала театральным, а затем уже поэтическим (лирическим), историческим или живописным кодом... Говоря о „театрализации“ живописи определенных эпох, не следует сводить дело к поверхностной метафоре. Вопрос имеет глубокие корни в самой природе театра, с одной стороны, и в сущности „промежуточного кодирования“ с другой» [8].

При этом приходится разграничивать случаи инкрустации в произведение фрагмента, закодированного тем же самым, но удвоенным кодом — театр в театре, картина в картине, текст в тексте [9] — с метазнаковыми текстами, обращенными на текст, состоящий из таких же знаков (фильм о создании фильма) [10; 11], и транспозиции произведения, принадлежащего к одному виду искусства, в произведение другого вида искусства, иначе говоря, знак знака или *образ образа* [12].

В русской поэзии XX в. заметно присутствие театральных транспозиций — в лирику. Здесь следует — несмотря на общеизвестность этого факта — оговорить и учесть определенный ‘литературоцентризм’ русской культуры, обуславливающий и характер таких транспозиций. Еще Мандельштам отмечал: «Театр русской интеллигенции! Это уже внутреннее противоречие! Такого театра быть не может! А между тем он был! Больше — он еще есть. ...Общество, которое всем своим складом было враждебно всякому театру, строило свой театр из всего, что ему было дорого; но если сложить в одно место все, что любишь ... все-таки театра не получится... Для всего поколения характерна была *литература*, а не театр... Театр понимали исключительно как истолкование литературы. В театре видели *голмача литературы*, как бы переводчика ее на другой, более понятный и уже совершенно свой язык» [13]. Весьма показательно, что, имея в виду русскую культуру, Ю. М. Лотман замечает: «Театр тяготеет к литературе как основе метаязыка» [14, с. 11], в то время как, исследуя материал западноевропейского искусства, Вяч. Вс. Иванов применительно к сну, карнавалу, цирку, т е а т р у (выделено мной.— В. М.), фильму говорит о правополушарной, нелогической, внеречевой образности [10, с. 32].

Если обратиться непосредственно к поэтическим текстам, например, Пастернака, то обнаруживается, что театральный код здесь выступает наряду с живописным и музыкальным, не доминируя, но и, пожалуй, не уступая им. Семантически театральные транспозиции и метафоры у Пастернака связаны с центральной для него проблематикой и могут размещаться в ударных в смысловом отношении частях стихотворения (начальная или конечная строка). Например, при сопоставлении мощи стихии и мощи творческой личности (Пушкина):

... Два бога прощались до завтра.  
Два моря менялись в лице:  
Стихия свободной стихии  
С свободной стихией стиха.

Два дня в двух мирах, два ландшафта,  
Две древние драмы с двух сцен.  
(«Вариации. I. Оригинальная»).

Театр здесь — через уподобление — уравнивается и с Природой и с Поэзией, Поэт мерцает и в драме, и в ландшафте, все три составляющих этого со-положения оказываются равновеликими.

Примером применения театральной транспозиции в начале стиха является такое значительное произведение, как «Гамлет»:

Гул затих. Я вышел на подмостки <sup>7</sup>,

где и аналогия с Христом проведена не без участия театральной метафоры (бинокли, драма, роль).

Театральные транспозиции встречаются у Пастернака в тех случаях, когда проводится столь значимая тема, как жизненная жертва художника, его растворение в искусстве (театр здесь выступает метафорой искусства вообще):

... Не читки требует с актера,  
А полной гибели всерьез  
(«О, знал бы я, что так бывает...»)

или («Мейерхольдам»):

Вы всего себя стерли для грима.  
Имя этому гриму — душа.

Акцентированное место занимает театральная образность при описании страсти, страданий любви:

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,  
Как трагик в провинции драму Шекспирову,  
Носил я с собою и знал назубок,  
Шатался по городу и репетировал.  
(«Марбург»).

Если сопоставить эту строфу со строками того же стихотворения

... Ведь я, как грамматику,  
Бессонницу знаю... —

а к этому сопоставлению понуждают повторы в обоих случаях сравнительных оборотов (как... как) и одного и того же глагола (знать) — то окажется, что театр (=Шекспир) — это 'высокий' канон, по которому познают любовь, в то время как телесно-биологическое существование протекает по 'низкому' канону — грамматике (=свод правил). Любовное чувство в художественном мире Пастернака оказывается на одном полюсе с 'театром', понимаемым, как мы видели, и как стихия, и как ждущий жертвы. Театральная метафора, как и в передаче чувства неразделенной, отвергнутой любви, неожиданна и в разработке темы совершенного зрса:

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью  
Трогал так, как трагедией трогают зал.  
(«Осень»).

Театральные транспозиции присущи и поэзии О. Мандельштама («Вполоборота, о печаль», «Как этих покрывал и этого убора...», «Чуть мерцает прозрачная сцена...» и др.), и — тем более — М. Цветаевой (здесь

<sup>7</sup> У Т. Кибирова реминисценция этой хрестоматийной строки —

*Вот гул затих. Он вышел на подмостки —*

через двойное кодирование (театр — литература — литература) выполняет открыто пародийную функцию (использование высокого образца применительно к низкому объекту) [15].

имеется в виду не ее непосредственно драматургическое творчество, но именно лирика), у которой, начиная с ранних произведений «угадывается в запечатанном, герметическом состоянии тяга к перевоплощению — феномен, предшествующий всякой драматургии, бессознательное увлечение сценическими эффектами, неправдоподобно ярко освещенными сверху, да еще подсвеченными снизу рампой» [16].

Ограниченность рамками данного сообщения не позволяет остановиться на чрезвычайно интересной проблеме театральности в поэзии авангарда 20—30-х годов, на экспериментах И. Восковца и Я. Вериха, перенесших центр тяжести на языковой материал в театре.

Особую тему представляет собой «театральность» новейших течений в литературе, например, концептуализма или постмодернизма. Относящиеся к этому направлению поэты ощущают его «драматургичность», сводя «разные языки в пределах одного действия» [17], выступая в роли «режиссеров» или «сценографов» составленного на равноправных основаниях из гетерогенных элементов текста. «В новом контексте все скрытые драмы языка разворачиваются как бы открыто. В идеале — это языковая мистерия» [18]. Таким образом, можно говорить о новом движении маятника — на принципиально ином уровне презентации театральности.

*МОЧАЛОВА В. В., канд. филол. наук,  
старший научный сотрудник ИСБ*

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евреинов Н. Н. Введение в монодраму. СПб., 1909.
2. Евреинов Н. Н. Театр как таковой. СПб., 1912.
3. Евреинов Н. Н. Театр для себя. СПб., Ч. 1—3. СПб., 1915—1917.
4. Евреинов Н. Н. Оригинал о портретистах (К проблеме субъективизма в искусстве). М., 1922.
5. Witkiewicz St. J. Teatr. Kraków, 1923.
6. Лотман Ю. М. Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в.— В кн.: Труды по знаковым системам. 8. Тарту, 1977, с. 68, 89.
7. Szyjewski M., Kowalski S. Retoryka Wałęsy. — Teksty drugie, 1990, № 4.
8. Лотман Ю. М. Театральный язык и живопись.— В кн.: Театральное пространство. Материалы научной конференции. М., 1979, с. 244.
9. Лотман Ю. М. Текст в тексте.— В кн.: Труды по знаковым системам. 14. Текст в тексте. Тарту, 1981, с. 13.
10. Иванов Вяч. Вс. Фильм в фильме.— В кн.: Труды по знаковым системам. 14. Текст в тексте. Тарту, 1981.
11. Иванов Вяч. Вс. Функции и категории языка кино.— В кн.: Труды по знаковым системам. 7. Тарту, 1975, с. 170—192.
12. Якобсон Р. Статуя в поэтической мифологии Пушкина.— В кн.: Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987, с. 166.
13. Мандельштам О. Художественный театр и слово.— В кн.: Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987, с. 223.
14. Лотман Ю. М. Феномен культуры.— В кн.: Труды по знаковым системам. 10. Тарту, 1978, с. 11.
15. Кибиров Т. Речь товарища К. У. Черненко.— В кн.: Личное дело №. М., 1991, с. 188.
16. Антокольский П. Театр Марины Цветаевой.— В кн.: Цветаева М. Театр. М., 1988, с. 6—7.
17. Пригов Д. А. Не все ясно с первого взгляда.— Транспонанс, 1983, № 5/18, с. 93—97.
18. Рубинштейн Л. Сонет-66.— В кн.: Русская альтернативная поэзия XX в. М., 1990, с. 30—31.



## К ИСТОРИИ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВСКОГО КОНФЛИКТА 1948—1953 гг. СЕКРЕТНАЯ СОВЕТСКО-ЮГОСЛАВО-БОЛГАРСКАЯ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ 10 ФЕВРАЛЯ 1948 ГОДА<sup>1</sup>

На поставленный в конце предыдущей статьи вопрос о том, чем была обусловлена позиция, которую на встрече 10 февраля заняла югославская делегация по поводу сталинского заявления о необходимости безотлагательного создания федерации Болгарии и Югославии, существует ответ, данный в свое время в воспоминаниях Э. Карделя. В них — мы об этом упоминали — объяснялось, что у делегации возникли опасения, как бы болгарский партнер не стал в федерации «тройным конем» Москвы в деле контроля над Белградом [1, с. 114]. Объяснение выглядит правдоподобно, если учесть, что такие же соображения против федерирования с Болгарией были затем прямо высказаны на состоявшемся через три недели, 1 марта, расширенном заседании Политбюро ЦК КПЮ [2, с. 306—307]. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что о подобной точке зрения югославской делегации на встрече 10 февраля ничего не говорится в отчете М. Джиласа, написанном сразу после встречи. Нет этого важного момента и в двух мемуарных книгах Джиласа, где речь идет о 10 февраля: ни в «Беседах со Сталиным», изданных в начале 60-х годов на Западе, ни в вышедших два десятилетия спустя мемуарах о послевоенном периоде<sup>2</sup>.

Правда, в своих воспоминаниях Кардель утверждал, что как раз Джилас такой точки зрения не придерживался и даже высказался после заседания, когда они возвращались из Кремля, за объединение с Болгарией, что встретило категорическое возражение с его, Карделя, стороны [1, с. 117]. Но, во-первых, это значит, что если опасение «тройного коня» в самом деле имело место, то не у всей делегации, а именно у Карделя, в то время как другой влиятельнейший член югославского руководства, участвовавший во встрече, стоял на совсем иной позиции. А во-вторых, в последней из упомянутых мемуарных книг Джиласа, написанной уже после опубликования воспоминаний Карделя, оспаривается утверждение о том, что Кардель возражал Джиласу, и говорится, что, наоборот, оба они

<sup>1</sup> Окончание, начало в № 3, 4 за 1991 г. и № 1 с. г.

<sup>2</sup> В первой, написанной в начале 50-х годов, книге В. Дедиера о Й. Броз Тито, где встреча 10 февраля изображалась на основе отчета Джиласа и устных свидетельств Карделя, говорилось, что члены югославской делегации оценили сталинское предложение как средство подрыва Югославии, когда обсуждали этот вопрос между собой уже после заседания в Кремле [3, с. 504].

придерживались общей в тот момент югославской линии — на Федерацию с Болгарией. Согласно Джиласу, эта линия изменилась лишь после возвращения делегации в Белград и ряда обсуждений данного вопроса в югославских верхах. По его мнению, свою версию Кардель просто выдумал, чтобы подогнать картину того, что происходило 10 февраля, под последующее развитие событий [4, S. 192].

Для воспоминаний Карделя такая подгонка, вольная или невольная, действительно характерна во многих других случаях — применительно как к периоду второй мировой войны, так и к послевоенному времени. И отнюдь не исключено, что то же самое произошло и на сей раз, когда подобным изображением фактически подчеркивались, с одной стороны, политическая пронизательность самого автора воспоминаний, с другой — отсутствие таковой у будущего «отступника» Джиласа. К тому же внушают сомнение и те непосредственные обстоятельства, при которых появилось упомянутое утверждение Карделя.

Согласно опубликованным данным, Кардель диктовал свои мемуары во второй половине 1978 г. [1, s. 13—14]. Однако он обратился к теме позиции Джиласа на московской встрече 10 февраля 1948 г. несколькими месяцами раньше, в мае 1978 г., и связано это было с письмом Дедиера от 15 мая 1978 г. В письме Дедиер, спрашивая Карделя о его воспоминаниях по поводу встречи 10 февраля, писал, будто отчет Джиласа о встрече, находящийся «у Старика», т. е. Тито, завершается словами: «Однако не следует упускать из вида, что товарищ Сталин питает любовь ко всему ЦК КПЮ, а особенно к товарищу Тито» [2, s. 123]. Подобную версию Дедиер позднее, в 1984 г., изложил и публично — в своей второй, многотомной книге о Тито. Но там фразу, которой, по его словам, завершался отчет Джиласа, он давал уже в двух различающихся вариантах — в одном случае цитировал названное письмо Карделю, в другом, ничуть не смущаясь, приводил ту же фразу в иной редакции: «Однако не следует ни на миг сомневаться в большой любви товарища Сталина ко всей нашей партии, всему ЦК, а особенно к товарищу Тито» [2, s. 295]. Смущения из-за такого разнобоя ожидать от Дедиера было бы трудно, коль скоро его не смущало главное — ведь и та, и другая редакции приведенной им фразы равным образом представляли собой вымысел. Ничего похожего в рукописном отчете Джиласа, который был передан в руки Тито и с которым мы смогли познакомиться в белградском архиве, просто нет [5, I-3-b/651. l. 33—40]<sup>3</sup>. Не будем гадать, чем была вызвана эта — отнюдь не единственная у Дедиера — выдумка, упорно повторявшаяся им и позже [7, s. 329] и сопровождавшаяся его утверждениями о беседе по данному вопросу с Тито и даже мистификаторской игрой с целью ввести в заблуждение самого Джиласа<sup>4</sup>. Важнее иное — именно на вымысел, содержащийся в письме

<sup>3</sup> К сожалению, некоторые авторы заимствуют вымысел Дедиера. Более того, случается, его даже «обогащают» новыми выдумками, как сделано в недавно вышедшей книге Ю. С. Гиренко «Сталин — Тито». Некритически используя в этом, как и во многих других случаях, сведения, почерпнутые в разного рода литературе, и не обратив никакого внимания на то по меньшей мерестораживающее профессионального историка обстоятельство, что у Дедиера с интервалом в 172 страницы даются два явно различающихся варианта якобы заключительной фразы из отчета Джиласа, Гиренко не только воспроизвел один из вариантов (почему именно его?) в качестве истины. Он еще и переиначил Дедиера: написал, будто упомянутой фразой завершалась телеграмма с информацией о встрече 10 февраля, направленная Карделем, Джиласом и В. Бакарйчем в Белград [6]. Неизвестно откуда взявшееся утверждение по поводу телеграммы, которое Гиренко делает со ссылкой на Дедиера, хотя у того о телеграмме нет и речи, насколько не лучше версия с отчетом Джиласа, ибо подобная фраза отсутствует и в названной телеграмме, с оригиналом которой мы ознакомились в том же архиве [5, I-3-b/651, l. 45—46].

<sup>4</sup> Дедиер утверждал, что Тито, знакомя его с отчетом Джиласа в 1951 г., когда Джилас еще был одним из наиболее влиятельных членов югославского руководства,

Дедьера от 15 мая 1978 г., Кардель три дня спустя, 18 мая, ответил ему, что «нисколько не удивляется» «фразе Джиласа, которой он закончил свой отчет», и поведал в свою очередь, что «он (Джилас.— Л. Г.) тогда сказал еще и кое-что другое». В качестве этого «другого» Кардель изложил ту самую версию разговора с Джиласом при возвращении из Кремля 10 февраля 1948 г., которую затем повторил, диктуя воспоминания. Прежде он, как сам отметил в том же ответном письме Дедьеру, ничего подобного не излагал. При этом Кардель особо подчеркивал в письме, что «Джилас вообще не понял, чего на самом деле Сталин хотел тогда от нас», в то время как «мне и Бакаричу это было совершенно ясно, и мы так информировали и товарища Тито» [2, s. 124]. Здесь яростная антиджиласовская направленность буквально переполняет версию Карделя, отправным моментом появления которой явился тоже антиджиласовский вымысел Дедьера.

Этот же фактор в полной мере действовал и несколькими месяцами позже, осенью 1978 г., когда Кардель стал диктовать свои воспоминания. Ярким свидетельством тому может служить запись беседы 11 октября 1978 г. между ним и Дедьером, опубликованная последним [2, s. 125—134]. Судя по ней, обоих собеседников прямо-таки захлестывало резко отрицательное отношение к переменявшему свои политические позиции Джиласу, что стало чуть ли не центральной темой этой их последней встречи (четыре месяца спустя Кардель умер). В таком контексте Кардель повторил Дедьеру ту же версию своего разговора с Джиласом после совещания в Кремле 10 февраля 1948 г. [2, s. 127—128]. Но на сей раз прибавил: «До разрыва со Сталиным Джилас ему был совсем предан, и сегодня я удивляюсь, как он не выступил за Коминформ. ...Было бы нормально, если бы он был на стороне Коминформа. Во всяком случае, он был изменчивым человеком, постоянно менявшим свои мнения и взгляды». И далее: «Кто когда-нибудь должен залететь не туда — он залетает. Это было в его (Джиласа,— Л. Г.) природе. Он может на следующее утро быть догматиком, так же как вчера был в так называемом демократизме» [2, s. 128]. Вряд ли пафос этих слов нуждается в обширном пояснении: изображение Карделем позиции, которую занимал Джилас во время московской встречи 10 февраля, и в частности упомянутого разговора между ними по ее окончании, слишком явно слито воедино с очевидным стремлением подкрепить подобным примером из прошлого абсолютно негативную оценку позднейшей деятельности Джиласа-диссидента, выступившего против не только сталинско-советской, но и югославской «самоуправленческой» разновидности «реального социализма». Очевидно, потому-то Кардель хотел побыстрее обнародовать свою прежде не выдвигавшуюся версию, сказав Дедьеру: «То самое о Джиласе и разговоре после встречи со Сталиным в Кремле, в феврале 1948 г., опубликуй как можно скорее» [2, s. 133].

Именно такая столь очевидная политическая окраска свидетельству Карделя не может не порождать серьезных сомнений относительно того, насколько оно соответствует действительности. Сомнений не по части

категорически потребовал хранить эту фразу в тайне, что тогда и было сделано. По словам Дедьера, лишь в 1967 г. он спросил ставшего уже диссидентом Джиласа, почему в своих «Беседах со Сталиным», изданных в 1962 г., тот не упомянул о заключительной фразе. Джилас ответил, что хотел немного схитрить [2, s. 294—295]. Видимо, сбитый с толку уверенными ссылками Дедьера на архивный документ, в то время еще строго секретный, и не имея возможности проверить, так ли это, Джилас за давностью лет не все помнивший детально, поверил утверждениям собеседника. И даже повторил их уже от себя в новых мемуарах, опубликованных в начале 80-х годов [4, S. 185]. Когда автор данной статьи в беседе с Джиласом 24 октября 1989 г. сообщил ему, что на самом деле в отчете, хранящемся в архиве, нет фразы, о которой говорится у Дедьера, и спросил, в чем, по его мнению, здесь дело, Джилас ответил, что ему это не ясно и он может лишь сказать, что, вероятно, сведения Дедьера неверны.

позиции Джиласа в пользу федерации с Болгарией — ее последний сам подтвердил в своих мемуарах, — а по части якобы совершенно противоположной точки зрения Карделя (а заодно и Бакарича). Тем более, что в той же беседе с Дедиером 11 октября 1978 г. Кардель одновременно утверждал и вовсе маловероятное: будто он негативно реагировал 10 февраля 1948 г. на сталинское требование о болгаро-югославской федерации потому, что «еще перед отбытием нашей делегации в Москву мы в Политбюро договорились, что не идём на федерацию с Болгарией, и с такой директивой мы отправились к Сталину» [2, с. 127]. Такого ни сам Кардель, в том числе в своих надиктованных тогда же воспоминаниях, ни кто-либо другой не упоминал ни до, ни после; не известны и никакие документы, на это хотя бы намекающие. Да и сказанное прямо противоречит воспоминаниям того же Карделя, где сталинская идея охарактеризована как свалившаяся 10 февраля неожиданно, как «гром среди ясного неба». Естественно, все эти несообразности отнюдь не добавляют правдоподобия утверждениям Карделя, касающимся московской встречи, и в частности его версии разговора с Джиласом по пути из Кремля.

Правда, Дедиер приводил и свидетельство присутствовавшего при этом разговоре третьего члена югославской делегации — Бакарича. Тот подтвердил версию Карделя, хотя и говорил, что не помнит сказанного Джиласом точно [2, с. 297]. Но и тутстораживает то, каким образом данное свидетельство появилось на свет. А, как рассказано у Дедиера в его второй книге о Тито, появилось оно так: Дедиер после смерти Карделя ознакомил Бакарича с ответным письмом Карделя от 18 мая 1978 г. и они составили текст «подтверждения» [2, с. 297]. В этом содержалась явная нарочитость: ведь Дедиер не спрашивал у Бакарича, каков был разговор между Джиласом и Карделем, а, познакомив с версией последнего, ставил лишь вопрос, верна ли она<sup>5</sup>. Принимая же во внимание личность Бакарича, много лет являвшегося одним из руководящих партийно-государственных деятелей Югославии, трудно сказать, насколько его подобным образом данное свидетельство в пользу Карделя, с которым он входил в одну «обойму», было свободно от чисто политических соображений.

Если прав Джилас и версия их разговора, изложенная Карделем, представляет собой лишь подгонку под позднейшие события, то позиция Карделя по поводу болгаро-югославской федерации на встрече 10 февраля 1948 г. должна была объясняться какой-то иной причиной, нежели фигурирующей в его мемуарах (не говоря уже об упомянутой выше совсем маловероятной версии о предварительном решении Политбюро). Возможно, будучи не первым лицом в югославских верхах, он просто не имел полномочий на какие-либо прямые обязательства по столь важному вопросу, как немедленное образование болгаро-югославской федерации, и потому счел необходимым не ангажироваться тут же на совещании в Кремле, а передать пожелание Сталина на рассмотрение Тито и всего

<sup>5</sup> Кстати, как писал сам Дедиер, идею спросить Бакарича подал ему Кардель во время их беседы 11 октября 1978 г. Однако Кардель как раз особо обратил внимание Дедиера на то, чтобы тот предвительно не рассказывал Бакаричу изложенное Карделем, а сначала спросил, что именно помнит об этом эпизоде Бакарич [2, с. 133]. Как видим, Дедиер поступил наоборот. Впрочем, несколько лет спустя, в другой работе, вышедшей в 1991 г., он опять-таки без тени смущения утверждал уже прямо противоположное: будто, еще только получив письмо Карделя от 18 мая 1978 г., он в тот же день спросил Бакарича о разговоре Карделя с Джиласом 10 февраля 1948 г., не упоминая о письме и его содержании, и Бакарич, не знавший о написанном Карделем, засвидетельствовал то же самое [7, с. 329]. Эта измененная версия Дедиера прямо противоречит опубликованному им же в 1984 г. «подтверждению» Бакарича. Противоречит она и записи его беседы с Карделем 11 октября 1978 г.: ведь даже на прямое пожелание Карделя привлечь как свидетеля Бакарича Дедиер ни словом тогда не упомянул о каком-либо якобы уже состоявшемся разговоре с ним.

руководства в Белграде. Что отнюдь не исключает и возможности появления у него собственных сомнений относительно сталинского проекта. Но так ли было на самом деле или все же в мемуарах Карделя называется истинная причина, а воспоминания Джиласа содержат в данном случае неверные сведения, — сказать с определенностью трудно, ибо в югославских архивных материалах, изученных нами до сих пор, ответа на сей счет обнаружить не удалось.

Третий пункт обвинений, выдвинутых на встрече 10 февраля советской стороной, — о попытке Белграда ввести дивизию в Албанию без консультаций с Москвой — касался, естественно, лишь югославов. И тут уж был их черед оставаться «на ковре» в одиночестве — на сей раз не «встревали» болгары.

Как следует из отчета Джиласа, Кардель, отвечавший по этому поводу Сталину и Молотову, не оспаривал самой постановки ими вопроса о необходимости согласовывать подобного рода важные внешнеполитические акции с Кремлем. Однако глава югославской делегации не спешил и каяться в «грехе» своего руководства, а старался, насколько мог, оправдать поведение югославского верха теми же аргументами, к каким прибегнул Тито в конце января 1948 г. в ответ на претензии, содержащиеся в уже приводившихся нами посланиях Молотова. Речь шла об имевшейся, по утверждению Белграда, угрозе греческого вторжения в Албанию и албанской неспособности дать этому отпор. В отчете записано, что Кардель «говорит о постоянных греческих провокациях, слабости албанской армии и о том, как мы сегодня экономически связаны с Албанией и как держим ее армию»<sup>6</sup> [5, I-3-b-651, л. 36]. Как мы уже отмечали, впоследствии Джилас в мемуарах утверждал, что истинной причиной югославского намерения ввести воинский контингент на албанскую территорию была вовсе не угроза греческой интервенции, а стремление Тито упрочить и обезопасить ту роль «патрона» в отношении Албании, которую Югославия играла в первые послевоенные годы. Причем эта мера должна была, помимо прочего, застраховать Белград от опасности возможного перетягивания Албании из сферы югославского в сферу непосредственного советского контроля [4, S. 168—169]. И согласно тем же мемуарам, когда после приезда Карделя 8 февраля в Москву ожидавший его здесь Джилас выразил сомнение, насколько уместно именно сейчас посылать дивизию в Албанию, тот смущенно ответил, что ведь все идет от «Старика», т. е. Тито: «Ты же все это знаешь сам» [4, S. 184]. Из чего должно следовать, что обосновывая на встрече 10 февраля югославскую позицию, Кардель просто выполнял директиву и сознательно лукавил, прибегая к камуфляжным аргументам. Но никакими документами, которые бы подтверждали изложенное в мемуарах Джиласа, мы не располагаем (в воспоминаниях Карделя об этом вообще нет речи).

Однако независимо от того, были ли аргументы Карделя искренними или камуфляжными, они отнюдь не удовлетворяли советских участников, настаивавших на недопустимости «самостийных» югославских действий, без совета с Москвой. А позиция Москвы — и это уже отмечалось нами — была подтверждена на встрече 10 февраля совершенно однозначно: о вводе югославских войск в Албанию не может быть и речи. Не вступая в прямой спор со Сталиным и его «соратниками», Кардель в данной ситуации решил прибегнуть к тому же приему, какой еще в конце января использовал Тито. При первых советских возражениях против намерения Белграда направить дивизию в Албанию Тито пытался поставить советское руководство перед дилеммой: если оно не согласно с югославским планом,

<sup>6</sup> По соглашению между Югославией и Албанией албанская армия содержалась тогда за счет югославского военного бюджета.



то пусть предложит свои меры по защите Албании. Тогда из этого ничего не вышло — в Кремле отнюдь не собирались давать кому-либо ответы, ответчиком пришлось выступать самому Тито (см. [8]). Тем не менее теперь, сидя непосредственно перед «отцом и учителем», Кардель попробовал снова поставить советский верх перед той же дилеммой: глава югославской делегации, как записано в отчете Джиласа, «возвратился к вопросу о том, что все же остается открытым, что делать в Албании». Однако и на сей раз из такой постановки ничего не вышло, «ответ на это,— говорится в отчете,— свелся к тому, что Сталин сказал ранее» [5, I-3-b/651, l. 38]. А в качестве гарантии против названной Карделем угрозы греческого вторжения советский руководитель указывал — вместо посылки югославских войск — на усиление помощи в оснащении и обучении вооруженных сил Албании. Причем имелась в виду помощь, оказываемая самой Югославией при советском содействии. В отчете зафиксировано, что Сталин, два-три раза прерывавший Карделя, «поставил вопрос, действительно ли состояние таково, что нельзя иметь никакого доверия к албанской армии, и добавил, что албанцев нужно учить и заниматься строительством их армии». Чуть позже он повторил это вновь, присовокупив также, что лишь «в случае нападения» Албания должна попросить Югославию о непосредственной помощи «официально» [5, I-3-b/651, l. 36, 38].

Из отчета Джиласа видно также, что в советских верхах с недоверием, если не с подозрением, отнеслись к югославским ссылкам на угрозу военного вторжения Греции в Албанию. В ответ на подобные доводы Карделя, как записано в отчете, «Молотов сказал, что у них нет извещений о каком-то [возможном] нападении на Албанию, и поставил вопрос, почему мы им не даем наши данные» [5, I-3-b/651, l. 36]. Интересно, что почти сразу после вечернего заседания в Кремле первый секретарь посольства СССР в Белграде А. И. Иванов обратился к министру иностранных дел Югославии С. Симичу с просьбой о приеме «по особому важному делу» и в беседе с ним, состоявшейся 12 февраля, заявил, что по некоторым сведениям, которые советская сторона никак не может проверить, греческим правительством принято решение о том, чтобы с помощью военной силы оккупировать Северный Эпир, т. е. Южную Албанию. Иванов спросил, есть ли такие сообщения от югославских представителей в Албании и Греции и располагает ли Белград данными о какой-либо концентрации греческих войск на албанской границе [9]. Совершенно очевидно, что такой шаг посольства, предпринятый по директиве из Москвы, представлял собой попытку проверить утверждения Тито об имеющихся у югославов сведениях относительно угрозы греческого вторжения в Албанию, повторенные Карделем 10 февраля. Это лишний раз свидетельствует о том, что с советской стороны отнюдь не принимали на веру подобные утверждения югославских партнеров.

Кстати, обращение советского посольства к Симичу имело плачевный результат для югославского руководства. Ибо министр иностранных дел, не коммунист, человек из числа старых дипломатических кадров, перешедший на сторону новой власти и игравший в определенной мере скорее представительскую роль, вовсе не был посвящен ни в совершенно секретные планы партийно-государственной верхушки Югославии по поводу направления югославских войск в Албанию, ни в тайные обсуждения этого вопроса с СССР, начавшиеся в конце января и продолжившиеся на встрече 10 февраля. Не знал Симич и о самой встрече. А потому ответил Иванову, что «мы до сих пор не получили никакого подобного известия», и выразил мнение, что, учитывая события на фронте гражданской войны в Греции, «очень маловероятна такая акция», хотя «провокации возможны и они в отношении Албании осуществляются ежедневно» [9]. По существу, Симич тем самым невольно дезавуировал свое начальство и, несомненно, лишь

подтвердил подозрения относительно югославских лидеров, имевшиеся у советских участников заседания 10 февраля.

Впрочем, сведения, содержащиеся в отчете Джиласа, свидетельствуют о том, что Сталин уже на самом заседании едва ли не был убежден в чисто камуфляжном характере югославских доводов. Заметив сначала в ответ на ссылку Карделя об угрозе нападения Греции на Албанию, что «это возможно», он, однако, затем «полушутливо сказал, что югославы боятся русских в Албании и из-за этого торопятся ввести туда войска» [5, I-3-b/651, л. 36, 37]. Сталинская «шутка», очевидно, и отражала тот вывод, к которому уже пришли в Кремле. Но такой вывод должен был означать, что «вождь» оценил югославское руководство как относящееся с недоверием к СССР, как преследующее собственные цели даже в противовес советским интересам и способное для достижения этих целей не только хитрить с Москвой, обманывать ее, но и, хотя бы в определенных пределах, прямо предпринимать действия, противостоящие ее устремлениям. Вряд ли приходится сомневаться, сколь серьезным криминалом это могло выглядеть в глазах Сталина, даже если учесть то смягчающее обстоятельство, что когда в конце января из Москвы решительно потребовали от югославов прекратить затею с направлением дивизии в Албанию, Белград, скрепя сердце, все же взял «под козырек». Однако трудно сказать, почувствовали ли члены югославской делегации или по крайней мере сам Кардель опасность, выглянувшую из сталинской «шутки»: отчет Джиласа ничего на сей счет не поясняет, а в мемуарах Джиласа и Карделя вообще отсутствует весь эпизод с этим высказыванием Сталина.

Отсутствует в названных мемуарах и другое важное обстоятельство, зафиксированное в отчете Джиласа: под огнем критики югославских действий Сталиным, Молотовым, а также Ждановым Кардель признал, что руководство Югославии совершило ошибку, не информируя Москву. И когда затем Сталин и Молотов предложили подписать протокол о взаимных консультациях по внешнеполитическим вопросам, «Кардель соглашается с этим» [5, I-3-b/651, л. 38]. Согласие на подписание протокола, данное югославской делегацией, отмечено и в посланном ею на следующий день телеграфном донесении в Белград [5, I-3-b/651, л. 45]. Так что на сей раз югославская сторона сочла необходимым подчиниться «интернациональной дисциплине». Но могло ли это как-то умиловить «отца и учителя» или он выжидал лишь удобного момента, чтобы примерно наказать «повзволивших себе» югославских лидеров?

Высказываясь на заседании 10 февраля за то, чтобы после образования болгаро-югославской федерации к ней присоединилась и Албания, Сталин тем самым как будто продолжал выраженную им еще 17 января на встрече с Джиласом поддержку стремления югославских верхов к объединению Албании с Югославией. И даже спросил югославских участников заседания, как албанцы примут объединение [5, I-3-b/651, л. 39]. Однако, во-первых, в этом случае речь на самом деле шла уже вовсе не о том югославо-албанском федерировании, которого хотели в Белграде и которое бы представляло собой фактическое включение Албании в Югославию, а о совершенно иной комбинации, когда югославы оказывались в куда более сложной связке — не только с маленькой Албанией, но и с Болгарией. Во-вторых, как и при беседе с Джиласом 17 января, Сталин по-прежнему оттягивал решение вопроса о присоединении Албании «на потом». Прибавился лишь новый аргумент — сначала нужно создать болгаро-югославскую федерацию. Но и старыми аргументами кремлевский хозяин тоже не пренебрегал. И когда в ответ на его вопрос Кардель и Джилас стали ему, как записано в отчете Джиласа, объяснять, что объединение «албанцы приняли бы хорошо, ибо это и в их национальных интересах, принимая во внимание, что около восьмисот тысяч албанцев живут в Югославии», Ста-

лин повторил уже сказанное Джиласу 17 января. «Сталин,— говорится в отчете,— в связи с Албанией сказал и о том, что у нас один уже покончил с собой, а хотим сместить Ходжу<sup>7</sup>, и что не нужно это делать быстро и грубо — „сапогом на горло“, а постепенно и косвенным путем». Причем «желание о присоединении должна изъявить сама Албания» [5, I-3-b/651, l. 39]. Все это очень похоже на то, что генералиссимус продолжал с югославским руководством игру, стремясь под различными предложениями не допустить действий Белграда по присоединению Албании к Югославии.

Одновременно в одной из реплик Молотова проглянула попытка обвинить югославское руководство в действиях, препятствующих развитию советско-албанских отношений, в частности, экономических. В отчете Джиласа зафиксировано, что Молотов «говорил об овсе, который Албания просила у СССР, и как Тито сказал Лаврентьеву, что Югославия даст овес, а после этого югославы отсылают албанцев, чтобы они овес купили в Аргентине» [5, I-3-b/651, l. 37]. На это-то и последовало приведенное выше «полушутливое» сталинское замечание о том, что «югославы боятся русских в Албании». Не известно, был ли Кардель в курсе истории с овсом и как обстояло дело в действительности, однако, во всяком случае он не растерялся и, что называется, «заткнул» шефа советской дипломатии с помощью нехитрого, но испытанного в «социалистическом мире» приема, сработавшего и на сей раз безотказно. В отчете записано: «Кардель, что касается овса, говорит, что не исключено, что в это вмешался и враг, чтобы испортить югославо-советские отношения (Молотов на это молчал)» [5, I-3-b/651, l. 38].

Но если этот конкретный удар югославы и смогли парировать, то, конечно, в целом игру, развернувшуюся в тот вечер в кремлевском кабинете, определяли не они. А «отец и учитель» делал все новые ходы.

В связи с доводами Карделя о необходимости защиты Албании от угрозы греческой интервенции Сталин неожиданно для своих югославских и болгарских собеседников поставил вопрос о том, имеет ли смысл борьба руководимых компартией Греции партизанских сил и дальнейшее оказание им помощи, осуществлявшейся с территории Югославии, Албании и Болгарии при ведущей роли югославов. Он, согласно отчету Джиласа, заявил, что «в Греции нужно помогать, если есть надежды на победу, а если нет, то нужно подумать и закончить партизанское движение». На слова Карделя о том, что югославы верят в победу греческих партизан, «вождь» возразил, что советские руководители «в последнее время серьезно в этом сомневаются» и что он не верит, чтобы в Греции дело могло пойти успешно, как в Китае<sup>8</sup>. А «в связи с замечанием Димитрова, что в случае победы монархо-фашистов (т. е. греческого правительства.— Л. Г.) положение на Балканах стало бы тяжелым и серьезным, Сталин сказал, что это не доказано» [5, I-3-b/651, l. 37, 38]. Причем, как следует из мемуаров и Джиласа, и Карделя, на соображения последнего о том, что при определенных условиях партизаны в Греции смогут победить, Сталин реагировал весьма раздраженно [1, s. 116; 11, s. 116]. Согласно всем источникам о

<sup>7</sup> Сталин имел в виду самоубийство одного из руководящих партийно-государственных деятелей Албании Н. Спиру в ноябре 1947 г. и недовольство Белграда лидером компартии и правительства Албании Э. Ходжей. Эти вопросы уже рассматривались нами в одном из предыдущих очерков (см. [10]).

<sup>8</sup> Как написано в отчете Джиласа, Сталин сказал, что «они (советское руководство.— Л. Г.) пригласили китайских товарищей и считали, что нет условий для развития восстания в Китае и что нужно искать некий „модус вивенди“. Китайские товарищи — согласно Сталину — согласились с советскими товарищами на словах, а на практике собирали силы. Русские им два раза давали помощь оружием. И выяслось, что китайцы,— а не советские товарищи — были правы, как говорит Сталин. Но он не верит, что такой же случай с греческими партизанами» [5, I-3-b/651, l. 38].

встрече 10 февраля, его позиция по этому вопросу сводилась, по сути, к директиве — свернуть партизанское движение.

О причинах такой позиции существуют в литературе, югославской и западной, различные версии. Одна из них — что Кремль опасался военного столкновения с Западом ввиду решимости США и Великобритании не допустить в Греции власти коммунистов. Об этом говорится и в некоторых новейших работах, например, в книге Б. Хойзер [12, р. 29, 31]. В пользу данной версии должны свидетельствовать и зафиксированные в отчете Джиласа слова Сталина и Молотова. «Вождь» сказал: «Англо-американцы не пожалуют сил, чтобы сохранить Грецию, а единственной серьезной для них закавыкой является то, что мы помогаем партизанам». К этому «Молотов добавляет, что нас постоянно — причем с основанием — обвиняют в том, что мы помогаем партизанам» [5, I-3-b/651, l. 37]. Несомненно, вопрос об отношениях с западными державами в связи с гражданской войной в Греции играл серьезную роль в сталинских расчетах. Тем более, что Вашингтон и Лондон неоднократно демонстрировали серьезность своих намерений в греческих делах. И предупреждали об этом Советский Союз и руководимый им «соцлагерь». В частности, очередное подобное предупреждение было сделано меньше чем за двадцать дней до советско-югославо-болгарской встречи, 22 января, в выступлении британского министра иностранных дел Э. Бевина. В одной из предыдущих статей мы уже упоминали это выступление, в котором было выдвинуто предложение образовать союз западноевропейских государств. Оно вызвало большой международный резонанс и было встречено резко отрицательно советской стороной. Обосновывая необходимость предложенного союза опасностью, исходящей от СССР и создаваемого под советской доминацией восточноевропейского блока, Бевин особо отметил их непрекращающееся вмешательство, угрожающее Греции. И со всей решительностью предостерег, что подобные, как он их назвал, «провокации», могут повести к «серьезным событиям» [13]. Та же Хойзер рассматривает заявление Бевина, сделанное, как она подчеркивает, после консультаций с США, в качестве одного из важных факторов, с которыми должны были считаться в Кремле [12, р. 28—29]. И вполне возможно, что это в самом деле серьезно воздействовало на советское руководство и сказалось на его позиции во время встречи 10 февраля, хотя в нашем распоряжении нет пока документов, которые бы позволяли делать какие-то определенные выводы. Но даже если вопрос об отношениях с западными державами повлиял на сталинское решение свернуть партизанскую борьбу в Греции, только ли этим ограничивалось дело? Ведь тремя месяцами позже тот же Сталин пошел на более чем серьезный риск возможного столкновения с Западом, устроив берлинский кризис.

Похоже, в греческом случае немаловажное значение имела и другая причина — возникшее сильное недоверие, если не враждебность, Москвы к югославскому руководству, игравшему главную роль в осуществлении помощи греческим партизанам, в их политическом и военном патронировании со стороны «соцлагеря». В советских верхах могли опасаться неконтролируемых Кремлем действий Белграда в связи с гражданской войной в Греции, которые были бы нежелательны или просто вредны с точки зрения советской политики. История с попыткой ввести югославскую дивизию в Албанию, причиной чего выставлялась югославами именно ситуация, касающаяся Греции, вполне вероятно, выглядела в глазах кремлевского хозяина опасным прецедентом. Да и влияние Белграда на греческое партизанское движение, очевидно, было в этих условиях способно вызвать у Сталина не меньшую озабоченность, в том числе как раз из-за перспективы того, как бы возможный радикализм югославских решений не привел к такому развитию событий в Греции, которое угрожало бы военным столк-

повением СССР или кого-либо из «народных демократий» (той же Югославии) с Западом. Наконец, если у советского властителя возникли серьезное недоверие к югославскому руководству, подозрение, что оно склонно «тянуть одеяло на себя», преследовать собственные цели в обход Москвы и даже вопреки ей, то, по логике, он должен был задаться вопросом: желательна ли вообще победа возглавляемого коммунистами греческого партизанского движения, коль скоро оно будет действовать под преобладающим югославским влиянием? Не приведет ли это к усилению югославских амбиций, не будет ли использовано Белградом в своих интересах, которые могут и не совпадать с кремлевскими? Разумеется, на вопрос о том, насколько все перечисленные соображения в самом деле присутствовали в сталинских калькуляциях, способны достоверно ответить только соответствующие сугубо внутренние документы тогдашнего советского руководства. Но к архивным фондам, в которых они могли бы храниться, доступ исследователю был до сих пор закрыт, и пока неизвестно, есть ли они там вообще.

Так или иначе, все имеющиеся пока у нас источники о встрече 10 февраля с несомненностью свидетельствуют о том, что выдвинутая Сталиным установка на прекращение борьбы в Греции, явившаяся неожиданностью для югославских и болгарских участников, противоречила их собственному настрою и воспринималась ими с трудом. В частности, югославы, которых это касалось в особой степени, придерживались, как видно из слов Карделя, иного мнения, и выполнение сталинского указания означало для них отказ от всех устремлений, связанных с их активной заангажированностью в поддержке и развитии греческого партизанского движения. Затрагивало это в определенной мере и проблему югославской роли в Албании. Ибо осуществлявшаяся в первые послевоенные годы концепция югославского патронажа для защиты Албании от угрозы со стороны Греции была связана на деле не только, а чем дальше, тем, пожалуй, все больше не столько с греческими претензиями на Северный Эпир, т. е. Южную Албанию, сколько с возможными военными акциями правительства Греции против расположенных на албанской территории баз снабжения и переформирования греческих партизан (деятельность баз также координировалась с югославами)<sup>9</sup>. Естественно, что ликвидация этих баз была потенциально чревата таким изменением обстановки, которое вело бы к ослаблению напряженности в греко-албанских отношениях и, соответственно, к уменьшению нужды в югославском патронаже.

Хотя Кардель и Г. Димитров в ответ на поставленный Сталиным вопрос о дальнейшем отношении к партизанской борьбе в Греции высказывались в пользу ее продолжения, однако, ни в отчете Джиласа, ни в его и Карделя воспоминаниях не зафиксировано прямых возражений югославских и болгарских участников встречи против мнения, изложенного в итоге по этому поводу «вождем народов». Так же как не зафиксировано и возражений с югославской стороны против его указующего резюме, какой линии поведения следует придерживаться Белграду в Албании. Но здесь, скорее, действовал фактор иерархичности отношений с СССР, нежели действительного согласия со сталинскими установками.

Так завершилось на этой секретной встрече вечером 10 февраля 1948 г. обсуждение проблем, поднятых там советским руководством<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Оружие, поступающее из СССР, доставлялось в Югославию «для ваших соседей» [14]. Югославы также посылали часть своей помощи оружием для греческих партизан через Албанию, где для координации этой деятельности с албанскими органами внутренних дел находились представители югославской службы безопасности [2, с. 267].

<sup>10</sup> В воспоминаниях Карделя говорилось, что, как он думает, Сталин в конце встречи упрекнул также югославов в том, что те «плохо поступают» с советскими союзниками, работавшими в Югославии, не дают им настоящего дела, не слушают

Югославская делегация, как видно из ее телеграммы, направленной на следующий день в Белград, хотела, со своей стороны, обсудить на встрече и важные для Югославии экономические вопросы [5, I-3-b/651, l. 46]. Имелись, очевидно, в виду югославские просьбы, касавшиеся закупки в СССР товаров и материалов, в том числе 100 тыс. т черных металлов, получения займа в 60 млн долларов валютой или золотом и ускорения советских поставок для промышленного строительства в Югославии, предусмотренных на основе советского кредита соответствующим соглашением между двумя странами от 25 июля 1947 г. Эти просьбы уже излагались в течение второй половины января — начала февраля 1948 г. находившимися в Москве Джиласом и другими югославскими представителями в ходе переговоров с советскими официальными лицами, в том числе при встрече Джиласа со Сталиным 17 января и затем в беседах с А. И. Микояном, возглавлявшим министерство внешней торговли СССР. Как и в ходе ведущихся одновременно переговоров о советских поставках в Югославию вооружения и боевой техники, о содействии в развитии югославской военной промышленности, советская сторона, первоначально обещавшая максимально пойти навстречу югославским пожеланиям (в частности, Сталин сказал это Джиласу 17 января), стала затем затягивать принятие конкретных решений, ссылаясь на ограниченность возможностей СССР и чрезмерность югославских запросов (см. подробнее [15]). В телеграмме, посланной из Москвы в Белград в начале февраля, накануне приезда в советскую столицу Карделя и Бакарича, Джилас констатировал, что дело как по экономической, так и по военной части «стоит на мертвой точке». И считал нужным предпринять новые шаги перед советским руководством. «Я дождусь,— говорилось в телеграмме,— Карделя и мы поставим [это] дело у Молотова или Сталина» [5, I-3-b/651, l. 41—42]. Очевидно, после приезда Карделя в Москву они с Джиласом решили поднять экономические вопросы прямо на встрече, состоявшейся 10 февраля.

Однако сам ход встречи, заданный советскими хозяевами, делал югославское намерение практически невозможным. Это стало совершенно ясно, когда болгарская делегация, особенно Т. Костов, проявивший тут особую активность (он руководил экономикой Болгарии), попыталась несколько раз во время заседания поставить проблемы советско-болгарских экономических отношений. Сталин и Молотов немедленно пресекали попытки болгар, заявляя, что встреча посвящена «расхождению по внешнеполитическим вопросам», а экономические отношения должны быть предметом иного, отдельного рассмотрения, решаться с соответствующими советскими министерствами [5, I-3-b/651, l. 36, 39]<sup>11</sup>. Этот пример, очевидно,

их и действуют по-своему [1, s. 117]. Однако в отчете Джиласа никак не отмечено, чтобы данный вопрос вообще поднимался на встрече. Нет этого и в мемуарах Джиласа, и в первой книге Деднера о Тито, где совещание 10 февраля описывалось на основе свидетельств Джиласа и Карделя. Скорее всего и в данном случае сведения, содержащиеся в воспоминаниях Карделя, не достоверны.

<sup>11</sup> Из трех отмеченных в отчете Джиласа случаев, когда болгары (дважды Костов и один раз Димитров) пытались поднять эти вопросы, в двух, если судить по отчету, Сталин прерывал их, не давая даже объяснить, о чем конкретно идет речь. И лишь в одном случае Костову удалось сказать, что «для болгар неблагоприятен договор с СССР о технической помощи», касающийся «и патентов, лицензий и авторских прав» [5, I-3-b/651, l. 39]. Речь, очевидно, шла о советском проекте соглашения (а не договора) об оказании Советским Союзом технической помощи Болгарии, который, согласно сообщению, направленного югославским послом в СССР В. Поповичем в Белград 4 февраля 1948 г., болгарская сторона ожидала от советской около четырех месяцев. Попович сообщил в Белград и текст проекта, полученный от торгового советника болгарского посольства в Москве Б. Христова. Югославов это очень интересовало, поскольку им также предстояло заключить с СССР соглашение о технической помощи. «По моему мнению,— доносил в Белград Попович,— условия, особенно оплаты, предусмотренные в соглашении с болгарями, не могут удовлетворить ни в коем случае» [5, I-3-b/653, l. 1—4]. Как записал Джилас, Костову и на сей раз Молотов

заставил югославы отказаться от своего замысла. В телеграмме, которую Кардель, Джилас и Бакарнич послали в Белград на следующий день после встречи в Кремле, сообщалось: «Дискуссия протекала так, что мы не могли поставить ни одного из наших экономических вопросов. В связи с этим Кардель думает пойти к Молотову» [5, I-3-b/651, l. 46].

Судя по отчету Джиласа, единственный вопрос, который югославская делегация смогла поставить на встрече, касался того, какую линию занять по поводу стремления правительства Италии получить под свое управление бывшие итальянские колонии. Кардель сообщил, что итальянское правительство обратилось к Югославии с просьбой о поддержке в этом деле, и «спрашивал их (т. е. советской стороны.— Л. Г.) мнение», «что нужно ответить» итальянцам<sup>12</sup>. «Сталин сказал, что нужно поддержать эту (итальянскую.— Л. Г.) просьбу, и спросил Молотова, что они (т. е. советское правительство.— Л. Г.) ответили<sup>13</sup>. Молотов говорит, что они еще не ответили и что он думает, что нужно подождать. Сталин ему говорит, что нечего ждать и нужно ответить немедленно». Сталинское объяснение, почему бывшие итальянские колонии нужно отдать под управление Италии, выдержано в обычном для «верного продолжателя дела Ленина» макиавеллиевском духе: он «сказал, что когда-то цари, когда не могли договориться, давали землю (согласно последующим разъяснениям югославских участников, Сталин имел в виду земли, захваченные в войнах [3, с. 504; 4, S. 191; 11, s. 117].— Л. Г.) самому слабому феодалу, чтобы в удобный момент легче отнять у него, и что феодалы брали в качестве властителя иностранца, чтобы, когда он им надоест, могли его легче свергнуть» (5, I-3-b/651, l. 39—40)<sup>14</sup>. Согласно тому, что писал, ссылаясь на югославских участников встречи, Дедиер, тут Сталин первый раз за весь вечер засмеялся [3, с. 504].

Впрочем, и перед этим был еще один момент, когда мрачная атмосфера «начальственного разноса», казалось, сменилась обоюдной удовлетворенностью всех участников встречи. Это случилось, когда разговор перекинулся на только что опубликованную от имени Совинформбюро «историческую справку» «Фальсификаторы истории» или, как это формулировалось в отчете Джиласа, «ответ Совинформбюро на клевету американцев в связи с опубликованием документов о советско-германских отношениях». Тут явилось полное единодушие, и Кардель, и Димитров горячо поддерживали советский «ответ на клевету». Правда, в связи с замечанием Димитрова о коварстве западных держав, которые накануне начала второй мировой войны «хотели объединиться с Германией против СССР», Сталин не удержался, чтобы вновь не упрекнуть болгарского руководителя в

---

«сказал, что дело нужно посмотреть, а Сталин — чтобы Костов дал записку („записочку“» [5, I-3-b/651, l. 39]. Советско-болгарское соглашение о технической помощи было подписано 1 апреля 1948 г. [16].

<sup>12</sup> Дедиер утверждал, будто вопрос об итальянских колониях рассматривался на встрече 10 февраля в связи с обсуждением проблемы отношений балканских стран с Италией [3, с. 503]. Ни в отчете Джиласа, ни затем в мемуарах его и Карделя нет ни малейшего упоминания об обсуждении такой проблемы на встрече. Версия о дискуссии по балкано-итальянским отношениям понадобилась Дедиеру, очевидно, для того, чтобы как-то объяснить, почему возник вопрос об итальянских колониях. Ибо у Дедиера полностью замалчивается тот факт, что тема колоний была поднята Карделем и что он спрашивал советское мнение, как должно поступить югославское правительство. Такое замалчивание неудивительно: этот факт противоречил даваемой Дедиером схеме, согласно которой к моменту встречи 10 февраля югославское руководство уже занимало самостоятельные, независимые от СССР позиции.

<sup>13</sup> С такой же просьбой итальянское правительство обратилось и к правительству СССР. Однако, согласно официальному советскому сообщению, это было сделано лишь на следующий день, 11 февраля, через посла Италии в Москве [17, с. 125].

<sup>14</sup> 14 февраля замминистра иностранных дел СССР В. А. Зорин сообщил итальянскому послу, что советское правительство стоит за передачу бывших итальянских колоний в Африке под опеку Италии [17, с. 125—126].

том, что тот, в отличие от действовавшего исподтишка Запада, «выносит все открыто» (5, I-3-b/651, l. 39)<sup>15</sup>. Но затем опять наступил миг гармонии, когда Димитров поднял вопрос о заключении советско-болгарского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, «подчеркивая, что это имеет большое значение для Болгарии», и «Сталин с этим согласился» [5, I-3-b/651, l. 39].

В целом же почти трехчасовое пребывание «на ковре» было для болгарских и югославских участников тяжким испытанием. И чисто психологически, и по существу им был ясно указан «шесток», отведенный Кремлем «народным демократиям» в иерархии «социалистического лагеря». В частности, у югославских представителей имелось достаточно причин, чтобы, по словам Джиласа, испытывать тяжелые чувства, когда около полуночи закончилась, наконец, эта встреча с «великим вождем» и его «соратниками» [4, S. 192; 11, s. 118]. Помимо нерадостных впечатлений от всей атмосферы кремлевского совещания, вставали и несравненно более важные вопросы практической политики: как действовать дальше, имея в виду требования, предъявленные советским руководством?

Как уже говорилось, эти требования во многом противоречили устремлениям Белграда, что ощущалось на самой встрече. Вместе с тем навыки «интернациональной дисциплины», воспитывавшиеся со времен Коминтерна и подкреплявшиеся представлениями о необходимости единства «лагеря» в борьбе против «империалистической угрозы», о главенстве «первой страны социализма» в этой борьбе, все еще действовали. И существенно влияли на позицию югославских представителей, в том числе по основному вопросу на встрече 10 февраля — о согласовании внешней политики с Москвой. А в том, что именно он центральный, югославская делегация не сомневалась. В шифротелеграмме за подписями Карделя, Бакарича и Джиласа, посланной на следующий день в Белград (получена там 12 февраля), указывалось: «Их (советского руководства.— Л. Г.) главным выводом является необходимость постоянного консультирования по всем вопросам внешней политики. На этой линии они предложили подписание протокола, который обяжет к консультациям. С этим мы согласились» [5, I-3-b/651, l. 45].

Протокол был подписан в ночь с 11 на 12 февраля и датирован 11 февраля 1948 г. В шифротелеграмме, адресованной «маршалу Тито» и полученной в Белграде 13 февраля, Кардель сообщал. «Я был вчера у Молотова. Я подписал протокол со следующей формулировкой: „СССР и Югославия обязуются, что они будут взаимно консультироваться по важным международным вопросам, касающимся обеих стран“. Такой протокол подписали и болгары» [5, I-3-b/651, l. 47]<sup>16</sup>. В этот же день, 13 февраля, информация о том же самом была направлена в Белград и Молотовым, но по другому адресу — послу СССР А. И. Лаврентьеву. Как отмечалось Молотовым, в протоколе, подписанном им и Карделем, «указывается, что советское и югославское правительства, исходя из обязательств, принятых по договору от 11 апреля 1945 г.<sup>17</sup>, условились, что они обязуются консультироваться друг с другом по всем международным вопросам, затрагивающим интересы обеих стран». В телеграмме также сообщалось, что протоколы как с Югославией, так и с Болгарией «публикации не подлежат» [19]. Почему соглашения о взаимных консультациях с этими двумя

<sup>15</sup> Молотов тут заметил болгарам, что они плохо маскируют численность своих войск, превышающую зафиксированную мирным договором. Однако Димитров возразил, что эта численность, наоборот, даже ниже уровня, предусмотренного мирным договором [5, I-3-b/651, l. 39].

<sup>16</sup> Аналогичный советско-болгарский протокол был подписан Молотовым и Димитровым и датирован также 11 февраля [18].

<sup>17</sup> Имеется в виду договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией.



странами должны были сохраняться в тайне, в то время как обязательство таких же консультаций публично фиксировалось и в подписанном неделей раньше, 4 февраля, советско-румынском, и в подписанном неделей позже, 18 февраля, советско-венгерском договорах о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи [17, с. 54, 129], никак не пояснялось.

Еще в начале 50-х годов Дедьером в его первой книге о Тито была дана тогдашняя официозная югославская версия об обстоятельствах подписания советско-югославского протокола, которая затем получила распространение в югославской и западной литературе, а впоследствии была в основном повторена в воспоминаниях Карделя. Использовалась она и в начавших выходить с 1988 г. первых работах советских авторов, касавшихся истории конфликта. Согласно этой версии, Кардель ночью с 11 на 12 февраля (Дедьер не уточнял время — «после полуночи», а в воспоминаниях Карделя говорится, что его подняли с постели («в три часа утра»)) был срочно вызван к Молотову, который совершенно неожиданно для гостя вручил ему уже подготовленный проект протокола, сказав: «Подпишите». Кардель был этим ошеломлен. И испытывал чувство горечи от унижительного для него как представителя Югославии положения, когда Молотов, ничего с ним не обсуждая, просто велел ему подписать заготовленный советской стороной текст. Ошарашенный и в душе возмущившийся, Кардель заколебался было, подписывать ли ему вообще, но решил не нагромоздить конфликтных ситуаций. Однако от замешательства и злости ошибочно поставил подпись там, где должен был расписаться Молотов. Так что весь документ пришлось заново перепечатывать и затем подписывать [1, с. 119; 3, с. 504–505].

То, что Карделю дали подписать протокол «без объяснений и церемоний» и что в замешательстве он расписался не там, где нужно, и затем все пришлось перепечатывать и снова подписывать, засвидетельствовал в своих мемуарах и Джилас [4, S. 193; 11, s. 118]. В них, однако, говорится, что к Молотову Карделя вызвали вечером (и тот в связи с этим извлек Джиласа из театра — не уточняется, для чего) [4, S. 193]. А всех тех подробностей, о которых писали Дедьер и Кардель, в частности, о том, что протокол был для Карделя неожиданностью и что он колебался, подписывать ли его, у Джиласа нет.

Между тем именно некоторые из этих подробностей вызывают сомнения, поскольку противоречат документам, приведенным выше. Во-первых, это касается того тезиса, что протокол явился для Карделя неожиданностью. Он, согласно изложению Дедьера, смотрел на два листка, выложенные Молотовым, в недоумении: «Зачем подписывать такое заявление, когда и до тех пор мы ничего другого не делали, кроме того, о чем в нем говорится» [3, с. 505]. И сам Кардель в своих воспоминаниях утверждал: «К такому акту я был готов столь же мало, как к дискуссии о федерации с Болгарией у Сталина» [1, с. 119]. На самом деле, как недвусмысленно свидетельствуют и отчет Джиласа, и телеграмма, на следующий день после советско-югославо-болгарской встречи отправленная в Белград за подписями всех трех членов югославской делегации, согласие на подписание протокола было дано делегацией еще на самой встрече и она сразу же уведомила об этом руководство Югославии как о главном итоге тройственного заседания в Кремле. Так что вопрос о протоколе отнюдь не был для Карделя «снегом на голову». Разумеется, именно в тот момент Кардель мог не ожидать, что от него сейчас же потребуют подписать протокол, и в этом смысле, отправляясь к Молотову, он, возможно, не был непосредственно подготовлен к такому шагу. Но удивительного, неожиданного в самом предложенном протоколе ничего для него быть не могло. И, таким образом, изложенное и Дедьером, и Карделем в этом пункте не соответствовало действительности. Во-вторых, вызывает большое сомнение утвер-

ждение о колебаниях Карделя, подписывать ли ему протокол о консультациях. Ведь после того, как он сам уже дал на встрече 10 февраля согласие на заключение такого соглашения и об этом было сообщено в Белград, он был просто не в состоянии, находясь, что называется, в здравом уме и твердой памяти, позволить себе вдруг на свой страх и риск ответить Молотову отказом. Другое дело, что в Карделе могли вспыхнуть — и, вероятно, на самом деле вспыхнули — возмущение и обида от молотовского «указующего перста», от той унижающей начальственно-великодержавной манеры, в которой «сталинский соратник» с ним, очевидно, обращался, вызвав к себе и вручив уже готовый текст. Не исключено, что Кардель вправду в какой-то момент испытал чисто человеческое искушение «хлопнуть дверью». Но для политика его ранга, изрядно уже «поварившегося» на кухне государственного руководства и поднаторевшего в дипломатической деятельности, это в крайнем случае могли быть не более, чем возникшие на миг эмоции, глубоко упрятанные на самом дне души, а никак не соображения, которыми бы он реально руководствовался. Так что изображать таким образом, как это сделано у Деднера и в воспоминаниях самого Карделя, — это, скорее, из области мифов.

В воспоминаниях Кардель утверждал также, что во время визита к Молотову беседы между ними «практически вообще не было» [1, s. 119]. Однако обнаруженная нами в архиве и упомянутая выше шифротелеграмма Карделя с информацией о визите, адресованная Тито, свидетельствует, что дело обстояло отнюдь не так. «После этого (подписания протокола. — Л. Г.), — сообщалась в телеграмме, — я говорил об ускорении переговоров о военных поставках и о том, чтобы как можно раньше был подписан договор<sup>18</sup>. Он (Молотов. — Л. Г.) ответил, что поговорит со Сталиным и сообщит нам ответ. В конце я ему упомянул, что ты бы хотел позднее неофициально посетить Москву. Он спросил, когда; я ответил, что месяца через два» [5, I-3-b/651, l. 47]. Таким образом, беседа Карделя с Молотовым, хотя, возможно, и весьма краткая, все-таки состоялась. И Кардель успел поднять интересующие югославское руководство вопросы, которые не смог поставить на встрече 10 февраля. Но, как видим, определенного ответа получить ему не удалось: советская сторона, похоже, продолжала политику затяжек, проявившуюся в советско-югославских переговорах по экономическим и военным вопросам еще накануне встречи 10 февраля. Согласно воспоминаниям Карделя, на следующий день после визита к Молотову он посетил «одного из заместителей министра экономики, думаю, что это был Патоличев», с которым обсуждал вопросы экономического сотрудничества. Однако, тот на все отвечал, что «это будет решать высшее руководство» [1, s. 119—120]. Пока мы не располагаем документами, которые бы подтверждали эти сведения. Не ясно, что тут подразумевается под «министерством экономики» — такого тогда не существовало. Да и Н. С. Патоличев тогда не занимал ни должности заместителя министра, ни вообще какого-либо поста в центральном правительственном и хозяйственном аппарате. Не исключено, что подобной беседе, кроме как с Молотовым, у Карделя вообще не было. Во всяком случае в телеграмме, отправленной в Белград после визита к Молотову, он не сообщал ни о какой другой планируемой встрече с кем-либо, а информировал, что «дальше нам оставаться здесь было бы бесполезно, поэтому в субботу (14 февраля. — Л. Г.) мы вернемся» [5, I-3-b/651, l. 47]. Но если Кардель и в самом деле встречался с кем-то (но не с Патоличевым), то его неизвестный нам советский собеседник проводил, стало быть, ту же линию, что и Молотов.

<sup>18</sup> Не ясно, какой «договор» имеется в виду — соглашение относительно новых советских военных поставок в Югославию или протокол о товарообороте на период с 1 июня 1948 г., когда заканчивался срок действия предыдущего протокола.

По сравнению с тем, что писалось до сих пор в исторической и мемуарной литературе, полной неожиданностью являются упомянутые в телеграмме слова Карделя, сказанные Молотову, о желании Тито неофициально посетить Москву «месяца через два». Ничего подобного ни в каких введенных в оборот до сего времени материалах не фигурировало. Трудно предположить, чтобы Кардель позволил себе в разговоре с Молотовым «отсебятину», вероятнее, что это было заранее согласовано с Тито. Что же тогда стояло за таким шагом? Был ли это просто тактический маневр, призванный хотя бы на момент как-то сгладить, уменьшить недовольство советского руководства Белградом, смягчить советскую позицию, в том числе и в интересах желательного для югославов решения вопросов экономического и военного содействия СССР Югославии? Или Тито действительно надеялся, что все в итоге утрясется, и собирался, выждав, когда несколько сойдет острота ситуации, приехать в Москву и лично как-то уладить с кремлевским хозяином возникшие осложнения? Документы, с которыми мы смогли до сих пор познакомиться в югославских архивах, ответа на эти вопросы не дают. Возможно, он содержится в каких-то других материалах.

В югославской архивной документации не удалось нам пока ничего обнаружить и о беседах, которые на следующий день после вечерней встречи в Кремле 10 февраля состоялись между ее болгарскими и югославскими участниками на подмосковной даче Димитрова (она сохранялась в его распоряжении еще с того времени, когда до осени 1945 г. он жил в СССР). Об этих беседах впервые было упомянуто, в однотомнике Дедиера о Тито [3, с. 504], а затем говорилось в воспоминаниях Джиласа [4, S. 192—193; 11, s. 118—119] и Карделя [1, s. 118—119]. Из названных источников следует, что договоренность встретиться 11 февраля на даче Димитрова была достигнута болгарской и югославской делегациями буквально на ходу, когда они после окончания заседания вечером 10 февраля вышли из кабинета Сталина в приемную. Согласно Карделю, предложение исходило от Димитрова. Судя по тем же источникам, основной темой разговора на его даче была сталинская установка на создание болгаро-югославской федерации, причем болгары выступали «за». О позиции же югославов судить довольно трудно. В воспоминаниях Карделя и по этому поводу утверждается, что югославская делегация была скептически настроена в отношении федерации с Болгарией и потому, ссылаясь на отсутствие полномочий, ограничилась лишь обещанием информировать обо всем руководство в Белграде и о результате уведомить болгар. В мемуарах же Джиласа нет ничего о югославском скепсисе, а говорится, что на даче у Димитрова условились по возвращении обеих делегаций домой специально обсудить путем контакта между Софией и Белградом вопрос о федерации. Так или иначе, но и Кардель, и Джилас свидетельствуют, что никакого совместного решения, пусть даже предварительного, сформулировано на сей счет не было, проблема была отложена для последующего рассмотрения. Этим, возможно, и объяснялось то обстоятельство, что об обсуждении, состоявшемся на даче Димитрова 11 февраля, не упоминается в названных выше двух телеграммах, посланных югославской делегацией в Белград после встречи 10 февраля. Сложнее понять, почему нет упоминаний и в отчете Джиласа, написанном по прибытии из Москвы.

Как уже говорилось, в телеграмме, которую Кардель после вызова к Молотову и подписания протокола о взаимных консультациях послал Тито, сообщалось мнение югославской делегации о бесполезности ее дальнейшего пребывания в Москве и о намерении вернуться 14 февраля. Обратный путь был проделан по воздуху. Как вспоминал впоследствии Джилас, «на рассвете нас отвезли на аэродром „Внуково“ и без каких-либо почестей запихнули в самолет» [11, s. 119]. Трудно сказать, так ли уж мрачно это

выглядело, как описывает Джилас. Ведь и тайный приезд в Москву тоже не сопровождался официальным церемониалом. Но возможно, что проводы в самом деле были более холодными, чем встреча. И что здесь сказалось неблагоприятное отношение к югославам, усилившееся в итоге совещания 10 февраля. А быть может, преследовались и «воспитательные» цели — оказать тем самым на югославское руководство дополнительное психологическое давление, заставить его почувствовать свою «вину», как это обычно делают с напроказившими детьми, ставя их «в угол» и демонстрируя родительскую «сердитость».

Но в таком случае «отец народов» ошибся — эти «меры воспитания» не дали ожидаемого эффекта. Впрочем, не дала такого эффекта и вся та «накачка», которой подверглись югославские представители на секретной встрече 10 февраля. Ибо в течение последующих нескольких недель в Белграде приняты решения, прямо противоположные директивам, полученным в Кремле, — и по поводу Албании, и касательно партизанского движения в Греции, и относительно болгаро-югославской федерации. Подобная «дерзость» по отношению к московскому «центру», к указаниям «великого вождя» в корне противоречила той системе иерархического монолитизма, которая усиленно культивировалась советским руководством, Сталиным в международном комдвижении и соцлагере. И в повестку дня непосредственно встал вопрос о наказании «ослушников», осмелившихся пренебречь «уроком», данным им в сталинском кабинете вечером 10 февраля 1948 г.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Kardelj E. Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944–1957.* Sećanja. Beograd; Ljubljana, 1980.
2. *Dedijer V. Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita.* Т. 3. Beograd, 1984.
3. *Đedijer B. Josun Broz Tito: Prilozi za biografiju.* Beograd, 1953.
4. *Djilas M. Jahre der Macht: Kräftespiel hinter dem Eisernen Vorhang. Memoiren 1945–1966.* München, 1983.
5. Arhiv Josipa Broza Tita (Белград), Kabinet Marsala Jugoslavije.
6. *Гуренко Ю. С. Сталин — Тито.* М., 1991, с. 341.
7. *Dedijer V. Veliki buntovnik Milovan Đilas: Prilozi za biografiju.* Beograd, 1991.
8. *Бухаркин И. В., Гибианский Л. Я. Первые шаги конфликта.* — Рабочий класс и современный мир, 1990, № 5, с. 156–157.
9. Arhiva Saveznog sekretarijata za inostrane poslove SFRJ (Београд), Politička arhiva, 1948 god., F=IX, Str. Pov. 1419.
10. *Гибианский Л. Я. У начала конфликта: балканский узел.* — Рабочий класс и современный мир, 1990, № 2, с. 175–181.
11. *Đilas M. Razgovori sa Staljinom.* Beograd, 1990.
12. *Heuser B. Western «Containment» Policies in the Cold War: The Yugoslav Case, 1948–1953.* London; New York, 1989.
13. *Parliamentary Debates (Hansard).* Fifth Ser., v. 446. House of Commons. Official Report. London, 1948, col. 384–386.
14. Arhiv Jugoslavije (Белград), F. SKJ, СК СКЈ, IX, Reg. br. 1-II/90.
15. *Гибианский Л. Я. Вызов в Москву.* — Политические исследования, 1991, № 1, с. 204–206.
16. Советско-болгарские отношения и связи: Документы и материалы. Т. II. М., 1981, с. 268–272.
17. Внешняя политика Советского Союза. 1948 год: Документы и материалы. Ч. I. М., 1950.
18. Советско-болгарские отношения. 1944–1948 гг.: Документы и материалы. М., 1969, с. 405–406.
19. Конфликт, которого не должно было быть (из истории советско-югославских отношений). — Вестник Министерства иностранных дел СССР, 1990, № 6, с. 55.



ТЕРЕХОВ В. П.

## ПОЛИТИКА ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

(май 1945 г.— май 1946 г.)

В настоящее время идут поиски новых методологических подходов в изучении генезиса социализма как общественного строя. В связи с этим необходимо вновь обратиться к истории «народной демократии» и рассмотреть ее, отказавшись от существовавшего до недавнего периода искусственного выделения рабочего класса как единственного субъекта послевоенного исторического процесса в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Существовавший суженный подход в целом исключал анализ других социальных и политических сил, которые действовали на послевоенной общественно-политической арене. Он не мог дать объективной исторической картины развития, нивелировал и упрощал реальность со связанными ей борьбой и взаимодействием различных социальных интересов и политических концепций. Революции второй половины 40-х годов в регионе представлялись как триумфальное шествие рабочего класса, а не как результат сложных классовых и политических противостояний, в ходе которых общество делало выбор альтернатив своего развития.

Если исходить из принципа признания исторической субъективности всех социально-политических сил общества, то открывается возможность показать сложную, многомерную картину идейно-политической борьбы в ходе выбора альтернативы развития. С этой точки зрения большой интерес представляет послевоенная ситуация в Чехословакии, где в отличие от других стран региона был достигнут политический консенсус между всеми направлениями антифашистского сопротивления без внешнего давления. Его основой был трагический опыт Мюнхена и расчленения республики. Некоммунистические силы ориентировались на эволюционное обеспечение гармонии интересов всех социальных слоев, в том числе буржуазии, отрицали классовые антагонизмы в обществе. Иначе понимала ситуацию КПЧ. Решение социальных, политических и национальных проблем, важные структурные изменения, необходимость которых признавали все, она использовала для достижения своей монополярной власти, в ре-

---

Терехов Виктор Петрович — ведущий редактор издательства «Наука».

зультате чего эволюционное развитие постепенно стало приобретать характер классовой борьбы, в ходе которой КПЧ стремилась добиться гегемонии в духе большевистской концепции власти.

В настоящей статье предпринята попытка осуществить более детальный разбор политической борьбы в Чехословакии и роли в ней партии национальных социалистов на этапе национально-демократической революции (с мая 1945 г. до майских выборов 1946 г. в Законодательное Национальное собрание).

Освобождение Чехословакии Советской Армией и образование народно-демократического государства привели к глубоким изменениям ее политической системы. Политическую основу демократической республики составлял Национальный фронт чехов и словаков, в состав которого в Чешских землях вошли КПЧ, Чехословацкая социально-демократическая партия, Чехословацкая национально-социалистическая партия (ЧНСП), Чехословацкая народная партия, а в Словакии — Компартия Словакии и Демократическая партия. Национальный фронт был объединением демократических, антифашистских сил чешского и словацкого народов, которые принимали участие в антифашистской борьбе и одобрили Кошицкую правительственную программу, предусматривавшую глубокую демократизацию общественного строя страны. Существование Национального фронта исключало возникновение легальной оппозиции. Таким образом, речь шла о закрытой политической системе, и политический плюрализм возможен был только внутри нее. В Национальном фронте голосование не проводилось, решения требовалось принимать единогласно, а после принятия они были обязательны для выполнения на всех уровнях — в правительстве, парламенте, национальных комитетах на местах.

Некоммунистические партии, в том числе и ЧНСП, согласились с такой концепцией Национального фронта, ибо она позволила им устранить с политической арены их главного противника в прошлом — аграрную партию. Но за это было заплачено деградацией парламента, арена которого являлась местом межпартийной борьбы, привычной для некоммунистических партий. Таким образом, эта система позволила заменить демократические правила политической жизни иной практикой, а именно внепарламентским давлением массовых организаций, где преобладали коммунисты, чем они не преминули воспользоваться. Национальные социалисты, как основной соперник коммунистов, согласились на такую систему, проявив политическую неопытность и недалекость, предопределившие их поражение в будущем [1, s. 225—226].

Общая цель всех течений движения Спротивления — возрождение независимости Чехословакии — была достигнута, а на повестку дня встал вопрос о характере будущего независимого государства. Борьба развернулась между двумя лагерями — ультралевым во главе с коммунистами и реформистско-эволюционным, интересы которого выражали национальные социалисты, лидовцы и словацкие «демократы». Лидером этого лагеря была Чехословацкая национально-социалистическая партия, основанная в 1897 г. Она пользовалась популярностью и обладала определенной долей влияния и в рабочих массах. После освобождения Чехословакии от фашизма, когда под запретом оказались бывшие фашистские и реакционные партии, ЧНСП стала тяготеть к правому флангу политических сил, вышедших на арену общественной жизни.

В период войны коммунисты рассчитывали на то, что она станет традиционной партией средних слоев и будет выступать за сотрудничество с КПЧ. Действительно, в первые месяцы национальной и демократической революции ЧНСП лояльно сотрудничала со всеми партиями Национального фронта. Она не только открыто провозглашала себя сторонницей думонхенских порядков, как это сделала народная партия, а напротив ши-

роко рекламировала свою приверженность революционной Кошицкой правительственной программе. Лейтмотивом принятой национальными социалистами в мае 1945 г. программы действий являлось требование установления в стране «политической свободы в духе гуманизма Масарика и социалистической демократии» [2, с. 67]. Под лозунгом так называемого прогрессивного чешского социализма эта партия намеревалась утвердить гегемонию антифашистской группировки буржуазии в послевоенном обществе.

Еще в 1918 г., в условиях национального подъема, в Чехословакии была разработана программа практического социализма. Он сводился к признанию участия рабочих в тех или иных органах власти и в правительстве, проведению национализации крупных промышленных предприятий путем постепенной передачи государству различных отраслей производства.

В 1931 г. появилась программа демократического социализма, разработанная Э. Бенешем. Акцент в ней делался на отрицании классовой борьбы и любых форм насилия, социализм рассматривался как этический идеал. Теоретики ЧНСП связывали переход к такому обществу с рядом социальных, культурных и социалистических реформ, которые могут привести к изменению существовавшего строя [3, с. 86—88, 96—127]. Их идеалом было общество, где «маленький человек» не чувствовал бы себя задавленным, т. е. общество без глубоких контрастов. Основные лозунги партии после войны — национальный патриотизм, социализм и демократия. Но на первом месте всегда стоял национальный патриотизм, о социализме говорили в силу необходимости. Экономические требования ЧНСП были довольно умеренными и, в сущности, не шли дальше предложений, изложенных в кошицком документе [2, с. 69—70]. Программа действий национальных социалистов обходила молчанием такой важный вопрос, как установление государственного контроля над кредитно-денежной системой. Этот пункт в подходящий момент перехватили коммунисты.

Пока же руководству ЧНСП удавалось путем провозглашения социалистических и национально-патриотических лозунгов сохранять немалое влияние в массах. На эту партию, безусловно, делала ставку часть буржуазных кругов, ее поддерживали часть средних городских слоев, а также некоторые категории рабочего класса. Такая разнородная социальная база партии объяснялась отчасти тем, что ее руководство не без успеха выдавало себя за наследников Т. Г. Масарика и Э. Бенеша, культ которых был широко распространен в народе. Как вспоминал позднее близкий к Бенешу Э. Таборский, у чехословацкого народа имелась «абсолютная, почти мифическая вера» в президента Бенеша [4, р. 27]. Уже на одном из первых после освобождения собраний ЧНСП в Праге было заявлено: «Масарик и Бенеш — это наша программа» [5, 18 V]. Национальные социалисты не устанно повторяли, что они — партия Бенеша. Последний не только оказывал влияние на политику ЧНСП, но и открыто считался ее идейным вождем.

Вскоре после освобождения страны национальные социалисты предлагали установить государственный контроль над крупными промышленными предприятиями, природными ресурсами и всеми средствами производства. Вместе с тем в программу тогда не пошло предложение о национализации ряда отраслей тяжелой промышленности.

В начале лета 1945 г. национальные социалисты под влиянием настроений масс вынуждены были внести определенные коррективы в свою экономическую программу. Так, в июне 1945 г. Г. Ришка заявил о необходимости передать из частных рук в общественную собственность тяжелую промышленность, ключевые ее отрасли, а также добычу угля [6, с. 108]. Однако легкую и мелкую промышленность, ремесленное произ-

водство и незначительные торговые предприятия предполагалось оставить в частной собственности.

В основу своей экономической политики руководство национальных социалистов собралось положить принцип «экономического плюрализма», суть которого заключалась в сосуществовании частно-капиталистических, государственных (или общественных) и смешанных государственно-частных (или общественно-частных) предприятий. Тот же принцип должен был действовать и в области финансов. Он открывал для национальной буржуазии свободу маневра: с одной стороны, помогал ликвидировать позиции иностранных конкурентов и отечественного финансово-монополитического капитала, а с другой — не позволял глубоко вторгаться в право частной собственности [6, с. 7].

Выдвинутое национальными социалистами требование «сохранить частную собственность, нажитую трудом и потом трудящихся всех сословий и классов» [7, с. 69], не могло не получить широкий отклик и поддержку среди значительной части средней буржуазии, на имущество которой не распространялись декреты о национализации, принятые президентом республики в октябре 1945 г., а также среди мелких производителей города.

Таким образом, программа ЧНСП позволяла привлечь в ряды партии разнообразные категории населения. Поэтому не случайно партия национальных социалистов особо подчеркивала, что по своим программе и составу она является всенародной, партией «маленького человека». Это, безусловно, импонировало настроениям немалой части чешского общества, включая мелкобуржуазные городские слои и часть наемных рабочих. В первые послевоенные месяцы в ЧНСП активно вступали служащие, ремесленники и торговцы. К концу 1945 г. партия насчитывала около 500 тыс. человек [8, с. 46] и являлась второй по численности в стране. Однако лишь треть ее членов были рабочие и крестьяне, остальные две трети — представители буржуазных и мелкобуржуазных слоев населения [8, с. 46].

В первые революционные месяцы руководство ЧНСП обратилось к своим членам с призывом быстрее создавать первичные организации в городах и деревнях. При каждой местной первичной организации следовало образовывать женскую комиссию и молодежную секцию. От членов партии требовалось внимательно следить за партийной прессой, руководствоваться ее сообщениями и инструкциями, действовать всюду с уверенностью и настойчиво.

Об интенсивно шедшем послевоенном организационном оформлении партии говорит следующий факт. Если в 1945 г. национальные социалисты имели местные организации только в половине населенных пунктов в Чешских землях [9, с. 108], то в 1946 г. они были созданы в большинстве пунктов, а также на многих предприятиях. Руководство партии придавало большое значение созданию первичных организаций непосредственно на заводах, фабриках и в учреждениях, рассматривая их как основной организационный элемент. К сентябрю 1945 г. в Чешских землях было образовано 5 тыс. организаций, при этом формирование заводских первичных организаций шло медленнее, чем местных первичек [5, 11, 26 IX]. Структура центрального аппарата во многом повторяла структуру КПЧ. При секретариате ЧНСП были созданы курсы для партийного актива, работали курсы молодых национальных социалистов (так называемые социалистические школы).

Следует сказать, что руководство партии не было однородным, в нем действовал ряд соперничавших группировок. С лета 1945 г. ведущую роль в руководстве стала играть центристская группировка во главе с председателем партии П. Зенклом. В нее входили такие деятели как



П. Дртина, В. Болен, В. Крайна, а также сторонник умеренного курса Г. Рипка (в дальнейшем эволюционировал на крайне правый фланг партии). «В партии национальных социалистов и в народной партии, — писал ближайший соратник президента Бенеша Я. Смутный, — решающее влияние имели министры, их решения и проекты принимались без сопротивления президиумом и исполнительным комитетом» [10, с. 84].

Левое крыло в ЧНСП было немногочисленным. Его представляла небольшая группа политиков, объединившихся вокруг члена президиума Центрального совета профсоюзов О. Вюнша. Влияние этой группы на политическое руководство партии было минимальным.

Учитывая реальное соотношение классовых и политических сил в стране после освобождения, лидеры ЧНСП подчеркивали свое стремление к сотрудничеству с другими партиями. В начале июня 1945 г. национальные социалисты вместе с коммунистами и социал-демократами подписали соглашение о создании Национального блока трудящихся города и деревни, целью которого было последовательное проведение в жизнь правительственной программы. Подписанию соглашения предшествовали сложные переговоры, выявившие разногласия между КПЧ, с одной стороны, и ЧНСП — с другой. Руководство последней выдвинуло ряд ультимативных требований к своим партнерам, угрожая, если они не будут приняты, отказом нести ответственность за срыв переговоров [11, с. 110].

Несмотря на то, что в Кошицкой программе четко формулировалась идея независимости молодежной и других общественных организаций от политических партий, лидеры ЧНСП начали предпринимать запоздалые попытки создать свои молодежные и профсоюзные организации, однако, их опередили коммунисты. Споры о путях формирования корпуса национальной безопасности велись вплоть до 1948 г. Как справедливо заметил Я. Б. Шмераль, в тех случаях, когда спор между ЧНСП и другими партиями проникал в печать и получал широкую огласку (как это было с вопросом о молодежной организации), национальные социалисты в первые месяцы революции предпочитали уступать [12, с. 285].

Принятое соглашение о блоке, казалось, ориентировало партии на длительное и позитивное сотрудничество. Однако уже в период разработки проекта экономической программы блока выявилось принципиальное различие в понимании национализации коммунистами и национальными социалистами. Последние сводили суть этой акции к передаче под «общественное управление» промышленных предприятий (да и то только до определенной границы) немцев, венгров и коллаборационистов (КПЧ была за национализацию всех крупных предприятий и «своей» и «чужой» буржуазии). Руководство ЧНСП считало преждевременным выдвижение лозунга о национализации. Оно упорно добивалось сохранения частных банков. При этом делалась оговорка о том, что сначала следует передать государству соответствующие отрасли промышленности и уже потом рассматривать вопрос о банках.

В первые месяцы после освобождения Национальный фронт функционировал как широкий союз прогрессивных сил, представленный партиями и общественными организациями. В нем официально не были представлены массовые организации. Летом и осенью 1945 г., в условиях революционного подъема, представители профсоюзов, как наиболее сильной массовой организации, находившейся под контролем КПЧ, участвовали в заседаниях центральных органов Национального фронта, не будучи формально их членами. Национальные социалисты вынуждены были соглашаться с этим фактом.

На выборах в национальные комитеты в мае 1945 г. ЧНСП стремилась добиться паритетного представительства правительственных партий. Она опасалась, что в результате выборов демократическим путем, т. е.

открытым голосованием, национальные социалисты не смогут укрепить свои позиции в органах народовластия, которыми являлись национальные комитеты. Президиум ЧНСП требовал распространения принципа паритета и на другие общественные институты, например, на Центральный совет профсоюзов, а также на Управление кооперативов и т. д. [5, 24 V]. Однако и здесь можно говорить об опоздании — укрепившиеся сторонники КПЧ не пошли на уступки ЧНСП.

С конца лета 1945 г. при определении масштабов и содержания экономических преобразований наметилось размежевание политических сил в Национальном блоке и Национальном фронте. ЧНСП, как и другие партии, стояла перед необходимостью раскрыть свое понимание соответствующих разделов Кошицкой программы. ЧНСП не отрицала необходимости реформ в области социально-экономических отношений. Но глубина и темпы их осуществления должны были определяться доктриной особого, прогрессивного чешского социализма. Реформы, по мнению национальных социалистов, должны были проводиться не спеша, с крайней осмотрительностью, «чтобы уберечь нацию от тяжелого ущерба» [5, 10 VIII], т. е. эволюционным путем. Поэтому отнюдь не случайно этот курс получил активную поддержку народной партии и словацких «демократов».

При обсуждении проектов декретов о национализации между руководством партий Национального фронта в правительстве наметились определенные расхождения вследствие двух подходов к идее национализации. Если коммунисты, левое крыло социал-демократий и профсоюзы видели в широкой национализации воплощение антимонополистических демократических преобразований, которые, по их мнению, отвечали интересам большинства наций, то национальные социалисты и шедшие в их русле лидеры и словацкие «демократы» были готовы признать необходимость усиления регулирующей роли государства и его участия в управлении производством. Они соглашались на создание смешанных государственно-частных предприятий, видя в этом возможность использовать государство для безболезненного перехода на мирное производство.

Существенные разногласия возникли и в понимании объема и темпов проведения социально-экономических преобразований. На заседании президиума ЧНСП 10 сентября 1945 г. было принято постановление дать согласие на национализацию только восьми отраслей промышленности. Президент Бенеш разделял это решение, кроме того, он был солидарен с национальными социалистами и в вопросе о темпах проведения национализации.

Задержка с обсуждением проектов декретов о национализации по вине ЧНСП вызвала недовольство низов. Печатный орган национальных социалистов газета «Svobodné slovo» вынужден был оправдываться [5, 19 IX]. Г. Рипка позднее сожалел о том, что партия уступила и в ходе переговоров не добилась того, чего хотела, т. е. задержать «всеобщую национализацию», которая, по мнению национальных социалистов, вела к «всеобщей тоталитарности» [5, 16 XI]. Опасения национальных социалистов впоследствии подтвердились, однако, в тот период «всеобщая национализация» не воспринималась в сознании масс как «всеобщая тоталитарность». Эту опасность видели только наиболее прозорливые политические деятели. Часть рабочих и мелкобуржуазные слои верили в то, что новое государство — это гарант их социальной стабильности.

Организованные КПЧ и социал-демократической партией через профсоюзы массовые выступления рабочих в поддержку декретов обеспечили их принятие президентом страны. В итоге предполагалось национализировать предприятия 27 отраслей, в то время как проекты ЧНСП охватывали, как указывалось выше, лишь восемь отраслей промышленности.

25 октября 1945 г. на заседании президиума ЧНСП П. Зенкл вынужден был признать, что «кампания с национализацией не удалась, как того хотел центральный комитет партии, т. е. чтобы в срочном порядке было национализировано только то, о чем была достигнута договоренность с паном президентом на первых совещаниях» [13, s. 108—109].

В результате уже на этом этапе буржуазия терпит поражение, ее экономические и политические позиции существенно ослаблены. Ликвидация капиталистических монополий способствовала простору деятельности мелких и средних предпринимателей и росту доверия этих слоев к народно-демократическому строю.

Проиграв в борьбе за принятие декретов о национализации, ЧНСП и ее сторонники решили дать бой коммунистам и их союзникам во Временном Национальном собрании. С осени 1945 г. в политике ЧНСП, а также ее партнеров по правому крылу в Национальном фронте — лидовцев и словацких «демократов» — все более четко стала обрисовываться направленность на конфронтацию с коммунистами и их идеологией [5, 3, 12 X].

Корреспондент английской газеты «Sundy Times» сообщал, что в чехословацкой печати и на митингах ведется борьба за власть под лозунгом: «Масарик или Маркс?» (см. [14, 20 X]).

В поисках союзников руководство ЧНСП пошло на поддержку бывших видных деятелей запрещенных реакционных партий. Как пишет в своих воспоминаниях П. Дртина, «для нас большое значение имели кандидатуры Ф. Пршеучила, бывшего функционера „живностенской” партии, а также члена той же партии Кржепелы в Остраве Яна Деда, который выставлял свою кандидатуру в Пльзене. Из национальных демократов за национально-социалистическую партию выступал В. Клима, бывший депутат от национально-демократической партии. Некоторые, особенно Рипка, пытались провести его кандидатом в Праге, но это не удалось» [15, s. 160—161].

На некоторые посты в аппарате партии были поставлены бывшие активные деятели аграрной, национально-демократической и «живностенской» партий. Бывший национальный демократ В. Крайна стал генеральным секретарем партии, Ф. Пршеучил занял важный пост в торговом-ремесленном отделе ЧНСП, аграрии О. Сухи, Л. Феерабанд, Ч. Торн, Л. Каменичек и другие являлись либо членами парламента, либо ведущими сотрудниками земельного отдела партии. Зять чешского магната Я. Прейсса Джо Хартман вошел в руководство экономическим отделом партии национальных социалистов.

Во главе краевых, районных и местных комитетов партии также находились видные представители бывших правых партий; на новых постах в ЧНСП они продолжали проводить те принципы, которые были характерны для их прежних партий. Так, например, бывший аграрий Л. Каменичек открыто заявлял, что именно такие, как он, новые люди, входящие в партию национальных социалистов, меняют характер партии и определяют ее программу [16, 26 III].

Вступление в ЧНСП консервативных элементов имело двойное последствие. Прежде всего это вело к усилению правого крыла в руководстве партией как в центре, так и на местах. Кроме того, с начала 1946 г. стали происходить глубокие изменения в социальной структуре ЧНСП. В нее начали вступать представители средней и даже крупной буржуазии. Происходившие процессы свидетельствовали о том, что шло смыкание, объединение ранее расщепленного буржуазного лагеря: антифашистские и бывшие коллаборационистские группировки чешской буржуазии пытались объединиться ввиду наступления леворадикальных сил.

Политику «открытых дверей» для правых лидеры национальных социалистов объясняли желанием интегрировать различные слои буржуа-

зии в социализм. Так, еженедельник ЧНСП «Svobodný zítřek» писал: «Социализм, как мы его понимаем, должен опираться на солидарность и сотрудничество классов и сословий. Реальный чехословацкий социализм должен прилагать усилия к урегулированию социального неравенства демократическими методами» (цит. по: [5, 12 X]). Национальные социалисты подчеркивали коренное отличие своих социалистических идей от «социализма марксистского и коммунистического», т. е. социал-демократов и коммунистов.

Они отвергали лозунг классового социализма и не признавали классовой борьбы, утверждая, что в стране нет эксплуататорских классов [17, 20 II, 8, 12 XII]. Руководство ЧНСП добивалось осуществления идей социального мира и разрешения возникавших между различными классами противоречий «разумным договором» [17, 20 II]. Национальные социалисты распознали грядущую опасность монопольной власти коммунистов и стремились добиться ослабления роли КПЧ в обществе и постепенного превращения Национального фронта в коалицию политических партий со свободной игрой различных политических сил. Одновременно они направляли усилия на ослабление влияния коммунистов в профсоюзах, Союзе чешской молодежи, Едином союзе чешских земледельцев и др.

Особенно активные атаки были предприняты против Революционного профсоюзного движения (РПД) и его руководящего органа — Центрального совета, руководимого членом ЦК КПЧ А. Запотоцким. В деятельности РПД ЧНСП и ее союзники видели «самую большую угрозу демократии» [18, s. 199]. Были предприняты попытки отстранить профсоюзы от участия в работе Национального фронта. Этот вопрос стал предметом острой борьбы всех политических сил в республике. Однако усилия эти оказались тщетными. Ведь коммунисты имели самый лучший старт после освобождения: КПЧ единственная сохранила свою структуру как организованная партия и вслед за наступающей Советской Армией возобновляла работу своих организаций; с успехом использовала психологическую ситуацию победы СССР и волны просоветских настроений; сразу же стала распространять свое влияние в среде высококвалифицированных рабочих; использовала радикальную аграрную реформу для укрепления своего влияния на селе.

К концу 1945 г. четко проявляются не только симптомы нарастания напряженности между партиями Национального фронта, но и поляризация сил внутри него. В ходе обсуждения в правительстве вопроса о масштабах национализации и формулировок президентских декретов о национализации ЧНСП была поддержана народной партией. Национальный блок трудящихся города и деревни формально никогда не распускался, однако фактически он перестал существовать уже в конце 1945 г. К этому времени национальные социалисты все чаще блокировались с лидовцами и словацкими «демократами», а не с партнерами по Национальному блоку. Представители народной партии и партии словацких демократов пришли к заключению, что революция «зашла слишком далеко» [5, 15 XII]. Здесь появилась общая платформа для определения будущей их совместной политики.

В начале 1946 г. в связи с развернувшейся подготовкой к выборам в стране обострилась политическая обстановка. Она сказывалась прежде всего на деятельности высших органов власти и Национального фронта. Эйфория 1945 г. кончилась, наступило время трудовых и политических будней. Появились и первые признаки недовольства: у крестьян — обязательными поставками, у рабочих — уравниловкой в зарплате.

В чешском Национальном фронте шло формирование двух политических блоков: с одной стороны, коммунисты и социал-демократы, с дру-

гой — национальные социалисты и лидовцы. Руководство ЧНСП, рассчитывая одержать победу на выборах, развернуло кампанию против КПЧ. Тактика национальных социалистов предусматривала «напор там, где КПЧ проявляла слабость и допускала ошибки принципиального характера, состоящие в провоцировании бесчисленных революционных конфликтов» [19, с. 12—13].

Кампания проходила под лозунгами борьбы с тоталитаризмом КПЧ и изменения «односторонней» ориентации во внешней политике (за более тесный союз с западными странами). В связи с выборами руководство ЧНСП выпустило для функционеров партии специальный секретный меморандум, из которого видны цели национальных социалистов [11, с. 143].

Руководство ЧНСП, как и лидеры других правых партий, надеялись, что предстоящие выборы, ликвидировав принцип паритета, на котором строилась работа всех ведущих органов государственной власти, приведут к ослаблению позиций коммунистов и усилят позиции некоммунистических партий. По словам В. Копецкого, «Зенкл, Рипка, Духачек, Пероутка перед самыми выборами уверяли Стейнхардта (американский посол в Праге.— В. Т.), что коммунисты получают на выборах не более 25%, а национально-социалистическая партия окажется после выборов самой сильной» [20, с. 408].

Правые партии решительно выступили в Национальном фронте против выдвижения профсоюзами и массовыми общественными организациями своих кандидатов на предстоящих выборах. Отказались они и от выдвижения единых кандидатов от всего Национального фронта. Еще на съезде представителей национальных социалистов П. Зенкл заявил, что ЧНСП хочет идти на выборы «самостоятельно, без общего правительственного кандидата» [17, 4 I].

Об обострении предвыборной политической борьбы свидетельствовал и спор вокруг предложения коммунистов об использовании во время голосования так называемых «белых бюллетеней». С их введением с избирателей снималась обязанность голосовать за ту или иную партию Национального фронта. Внося предложения о «белых бюллетенях», коммунисты рассчитывали уменьшить возможность правых партий использовать голоса членов бывших запрещенных партий в свою пользу. Национальные социалисты, лидовцы и словацкие «демократы» высказались в Национальном фронте против введения «белых бюллетеней». Газета национальных социалистов «Svobodný zítřek» писала, что использование этих бюллетеней означало бы глубокую трещину в Национальном фронте [21, 4 IX]. П. Дртина позднее охарактеризовал «белые бюллетени» как орудие реакции [17, 2 IV].

Спор по вопросу о «белых бюллетенях» подтверждал наличие во фронте двух складывавшихся блоков, однако ни один из них в тот период не был оформлен как постоянно действующий фактор. В ходе предвыборной кампании партии заявили о единстве действий в духе Кошицкой программы. Даже крайне правые не решались официально выдвигать требования, противоречившие этой программе.

Национальные социалисты из тактических соображений подчеркивали приверженность политике Национального фронта и желание сотрудничать со всеми партиями [17, 4 I, 2 IV], а на деле все их усилия были направлены на противодействие КПЧ. В январе 1946 г. на заседании руководства Национального фронта лидеры ЧНСП выступили против передачи отдела безопасности земского национального комитета в руки коммунистов, понимая опасность овладения ими этим инструментом власти.

В феврале 1946 г. во Фронте и Временном Национальном собрании вновь обсуждался по инициативе ЧНСП вопрос о злоупотреблении властью органами безопасности, возглавляемыми коммунистами.

Лидеры ЧНСП требовали расширения компетенции и самостоятельности оставшихся от буржуазной республики органов земского управления в ущерб национальным комитетам, где преобладали коммунисты, и в то же время отстаивали независимость национальных комитетов от корпуса национальной безопасности, руководимого коммунистом В. Носеком.

В ходе подготовки к выборам усилилась критика массовых организаций. Поддерживаемые лидовцами, национальные социалисты пытались расколоть их и сделать неспособными влиять на политическую и экономическую жизнь страны. В начале января 1946 г. на проходившем в Брно краевом съезде молодежи народной партии было принято решение о создании лидовцами собственной молодежной организации [22, s. 26–27].

За народной партией последовала и партия национальных социалистов. На заседании Национального фронта 30 апреля представители последней подвергли нападкам Союз чешской молодежи (СЧМ), а в начале мая руководство ЧНСП призвало молодых членов своей партии выйти из единой молодежной организации [22, s. 27].

Национальные социалисты справедливо указывали, что СЧМ и Центральный совет профсоюзов не являются общенациональными организациями и действуют только по указке КПЧ. Коммунисты обвинялись и в попытке расколоть «непартийное единство нации классовыми лозунгами» [17, 1 V].

Проблеме взаимоотношений политических партий в предвыборный период было посвящено заседание Фронта, состоявшееся в марте 1946 г. Было достигнуто соглашение, что, пропагандируя свои предвыборные программы, партии Национального фронта и их печатные органы будут воздерживаться от непринципиальной полемики и различных выпадов [23, 28 III]. Однако, как и следовало ожидать, все это осталось на бумаге, с приближением выборов партии резко усилили конфронтацию. КПЧ «уличала» ЧНСП в покровительстве буржуазии, в органах печати ЧНСП звучали обвинения коммунистов в тоталитаризме и стремлении установить в Чехословакии «коммунистический режим» [17, 1, 3, 5 V; 24, 28 III]. В одной из пардубицких газет ЧНСП была опубликована статья под заголовком «Марксизм — враг, носитель немецкой идеи мирового господства...» [24, s. 35]. По утверждению одного из лидеров партии, Г. Рипки, большинство нации решительно возражало против того типа «демократии и социализма, который они [коммунисты], исходя из своей программы, хотели осуществить» [17, 11 V]. Высказывались опасения, что в случае успеха на выборах коммунисты будут прилагать все усилия к тому, чтобы президентом был избран Готвальд, а не Бенеш [16, 14 V]. КПЧ отвергала эти домыслы, заявив, что «ложные слухи исходят от тех, кто принимает в свои ряды феерабендов и других реакционеров из аграрной и живнostenской партий и партии национального единства» [16, 14 V].

Если говорить о программе, с которой шли национальные социалисты на выборы, то следует констатировать отсутствие какой-либо четкой предвыборной платформы у этой партии. 5 мая было опубликовано обращение президиума ЧНСП к чешскому народу [17, 5 V], в котором содержалась критика компартии, общественных и государственных органов, в которых она установила свой контроль. Национальные социалисты выступили с требованием деполитизации корпуса национальной безопасности и армии. Имея в виду коммунистов, ЧНСП призывала очистить

административное управление от партийного и личного произвола. В ответ КПЧ обвинила ЧНСП в отходе от Кошицкой программы, необоснованной критике народно-демократического режима и подготовке раскола Национального фронта [16, 26 V].

26 мая 1946 г. по всей стране прошли выборы в Законодательное Национальное собрание. Национальные социалисты, предполагавшие набрать 1800 тыс. голосов [25, s. 76], получили в Чешских землях 1 298 980 голосов, т. е. 23,66% [26, s. 483]. ЧНСП стала второй после КПЧ партией республики. Коммунисты набрали в целом по стране 38% голосов, т. е. больше, чем какая-либо другая чешская и словацкая партия, и получили право формировать, согласно конституции, новое правительство. В итоге 151 мандат коммунистов и социал-демократов против 149 мандатов других партий свидетельствовал о фактически сложившемся равновесии сил.

Руководство национальных социалистов было весьма разочаровано результатами майских выборов. Свою неудачу оно объясняло гегемонией КПЧ, которая якобы захватила почти все экономические и политические позиции в стране и благодаря своей силе «держала в страхе избирателей» [17, 2 VI].

После выборов в ЧНСП была создана комиссия, которая специально занималась их итогами. В результате работы комиссии был составлен «Меморандум XVIII» о причинах неудачи партии на выборах и способах их устранения [11, s. 173—176]. В этом документе говорилось, что во всех сферах своей деятельности ЧНСП проявила чрезвычайно малую степень организованности. Отсутствовали необходимые связи не только между членской массой и руководством партии, но и между отдельными партийными инстанциями. Наибольшим организационным недостатком партии, как отмечалось в меморандуме, было то, что «она, с одной стороны, не сумела привлечь самую энергичную и самую многочисленную часть избирателей — рабочих, а с другой стороны, не смогла... организовать остальные классы, главным образом мелких предпринимателей и ремесленников». В меморандуме далее указывалось, что «идейная программа национальных социалистов существовала только в общих чертах и была неясной; программа действий, которая отвечала бы стремлению чешского народа к строительству республики, отсутствовала совсем». Критика методов КПЧ, учитывая малосодержательную собственную идейную программу, оказалась слишком недостаточной для того, чтобы достигнуть этого успеха, на который рассчитывала ЧНСП. «Отсутствие программы действий, — указывалось в документе, — привело к тому, что национальные социалисты, не имея собственных (хотя бы для общечешности), точно сформулированных идей и представлений о будущем ЧСР, были вынуждены, особенно по вопросу об организации промышленности, принять дальнейший план коммунистов». В заключении меморандума отмечалось, что ЧНСП не смогла в достаточной мере завоевать доверие населения.

Результаты выборов показали, что тактика и стратегия национальных социалистов были не столько ошибочными, сколько устаревшими, из эпохи парламентаризма 20—30-х годов. А ведь общество в республике 1946 г. было совершенно иным. Буржуазные лидеры, которых так охотно ЧНСП брала под свое крыло, в глазах широких масс являлись виновниками трагедии 1938 г., и присутствие их на многих постах к партии доверия не вызывало, а только лишь давало возможность коммунистам подчеркивать этот момент. ЧНСП отрицала наличие в стране классов, выдвигая идею сотрудничества всех слоев общества на благо строительства особогѹ чехословацкого неклассового социализма. Тем самым преследовались две цели: с одной стороны, обеспечить поддержку прежде всего

многочисленных мелкобуржуазных слоев общества, а с другой — воспрепятствовать дальнейшим радикальным экономическим и социальным преобразованиям, рассматривая достигнутые результаты как достижение социалистических целей.

Однако эти идеи радикализованные войной, оккупацией и послевоенной разрухой массы не воспринимали. Их настроениям отвечали лозунги КПЧ о самой широкой национализации и перераспределении национального богатства. Пагубные их последствия стали очевидными гораздо позже. Предупреждения, прозвучавшие от отдельных деятелей ЧНСП (П. Зенкла, Г. Рипки и др.), воспринимались в интерпретации коммунистов как защита собственности буржуазии и буржуазных порядков, а потому и отвергались широкими массами. Сказалось и неумение работать в массах. В итоге попытка добиться подрыва позиций коммунистов оказалась неудачной, а борьба за политическое лидерство на этом этапе — проигранной.

Правительство предстояло формировать не национальным социалистам, а коммунистам, взявшим после выборов курс на достижение абсолютного преобладания в парламенте. Подводя итог выборов, К. Готвальд говорил: «Мы еще не выиграли, борьба пойдет дальше. Мы в этой борьбе имеем только более выгодные позиции, но на этом мы не можем успокоиться, напротив, мы должны стремиться к тому, чтобы следующие выборы получились так, чтобы мы „могли стирать в одной воде и на чисто“» [25, с. 89].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Mencl V., Hájek M., Kadlecová E.* Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách. Praha, 1990.
2. Sborník dokumentů k dějinám CSSR a KSC v letech 1945–1948. Vysoká škola politická ÚV KSC. С. 2. Praha, 1967.
3. *Harna J.* Kritika ideologie a programu českého národního socialismu. Praha, 1978.
4. *Taborský Ed.* President Edvard Beneš Between East and West. 1938–1948. Stanford, 1981.
5. Svobodné slovo, 1945.
6. *Мурашко Г. П.* О позиции КПЧ по вопросу о национализации основных средств производства в условиях перерастания национально-демократической революции в социалистическую. — Советское славяноведение. 1984. № 1.
7. Studijní materiály k dějinám ČSR a KSC (1945–1948). С. 2. Praha, 1967.
8. *Мельникова I. М.* Шлях до перемоги соціалістичної революції в Чехословаччині. — З історії зарубіжних соціалістичних країн. Київ, 1971.
9. *Bertelmann K.* Vývoj národních výborů do Ústavy 9. května (1945–1948). Praha, 1964.
10. *Pavliček V.* Politické strany po Unoru. С. 1. Praha, 1966.
11. *Král V.* Cestou k Unoru. Praha, 1963.
12. *Шмераль Я. Б.* Расстановка политических сил в Чехословакии после освобождения страны и стратегическая линия КПЧ. — Из истории народно-демократических и социалистических революций в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. М., 1977, с. 268–306.
13. *Opát J.* O novou demokracii. Praha, 1966.
14. Obzory, 1945.
15. *Drtina P.* Československo můj osud. Toronto, 1982.
16. Rudé právo, 1946.
17. Svobodné slovo, 1946.
18. *Hora O.* Svědectví o puči. Z bojů proti komunizaci Československu. Toronto, 1978.
19. *Недорезов А. И.* Четверть века борьбы за социализм. — Советское славяноведение. 1970. № 3.
20. *Копецký V.* ČSR a KSC. Praha, 1960.
21. Svobodný zitrěk, 1946.
22. *Mlynský J.* Únor 1948 a akční výbory Národní fronty. Praha, 1978.
23. Правда, 1946.
24. *Kaplan K.* Kdo byl tedy vinen? Pardubice, 1958.
25. *Gottwald K.* Spisy. Sv. XIII, Praha, 1957.
26. Cestou května. Dokumenty k počátkům naší národní a demokratické revoluce. Duben 1945 – květen 1946. Praha, 1975.





КОСЕК Н. В.

## ОБ «ОПИСКАХ» ДРЕВНИХ ПЕРЕПИСЧИКОВ ЕВАНГЕЛИЙ

Длительная и сложная история создания, а также история бытования текста (вернее, текстов) Евангелия привела к огромному количеству вариантов и разночтений внутри многочисленных списков рукописей. Конечно, переписывая тексты в различных скрипториях, писцы не могли не допускать погрешностей, описок, ошибок. Многие из этих ошибок легко узнаются в рукописи и объясняются аналогиями, пропусками, явлениями графической гаплоггии и т. д. Однако в ряде случаев мы слишком поспешно относим к «опискам» не вполне ясные сегменты текста, гапаксы, забывая, что именно в этих индивидуальных вариантах может скрываться разгадка многих еще не известных современным исследователям языковых явлений.

Рассмотрим, например, следующие «описки», различные по происхождению и относящиеся к разным лексико-грамматическим классам.

1. Гапакс *dina* — Ассеманиево, Добрейшево, Путнанское евангелия — МТ 26.18: *идѣте въ градъ къ динѣ*, греч. *πρὸς τὸν δεῖνα*, синодальный перевод: «Пойдите в город к такому-то (и скажите ему: «Учитель говорит: время Моё близко, у тебя совершу пасху с учениками Моими»)».

Здесь важно обратить внимание на то, что выражение *къ динѣ*<sup>1</sup> употреблено в таком древнейшем апракосе, как Ассеманиево евангелие [1]. Греческое *δεῖνα* переведено неопределённо-указательным местоимением «такой-то» в соответствии с традиционными для неопределённых местоимений разночтениями в ряде евангельских текстов: Мар Зогр Ник Карп Бан Вук Врач — *къ егероу*, Остр — *къ Iединомуу*, Сав — *къ нѣкомуу*, Гал Мстсл Юр Трн — *къ оньсици*. Этот единственный канонизированный вариант перевода не может не вызвать сомнения своей неопределённостью. Так, И. В. Ягич, вслед за Копитаром и Миклошичем, трактует славянское выражение со словом *dina* как описку (*lapsus calami*), видя в нем доказательство несовершенства древнего перевода: «Этот перевод просто ничего не значит (*sprechen sie gar nichts*): *πρὸς τὸν δεῖνα* может быть или *lapsus calami*, что всего вероятнее, или же выражение *dina* намеренно оставлено без перевода» [2, S. 169]. Таким образом, И. В. Ягич, не приемля канонизированного варианта, допускает возможность непереуведенного слова в этом контексте. Но оставленным без пере-

Косек Наталия Викторовна — канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Института молодежи.

<sup>1</sup> Для упрощения мы в дальнейшем не разграничиваем *i* и *u*.

вода, очевидно, является какое-то известное слово, настолько понятное переводчику, что он не видел необходимости в специальном славянском эквиваленте.

Выясняя семантические особенности гапакса *дина*, целесообразно рассмотреть аналогичные стихи в двух других синоптических евангелиях: Мк 14.13 и Л 22.10, которые почти полностью совпадают в синодальном переводе: Мк 14.13 ...«пойдите в город; встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним», Л 22.10 ...«при входе в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним...». Г. Воскресенский отмечает следующие различия для Евангелия от Марка: *въ кърчАзѣ водоу носА* — один Гал. сп., прочие списки I редакции — *въ скѣдѣльницѣ* и один — *в камАницѣ*; из списков II редакции встречаются все 4 слова [3]. К сожалению, в кратких апракосах этот стих отсутствует. В древних тетрах и полных апракосах находим *въ скѣдѣльницѣ* (Зогр Мар, так же Ник, но с фонетическими отклонениями, Мстсл — оба стиха: *въ скоудѣльницѣ*). В Острожской библии — *в скѣдѣльницѣ*, в среднеболгарских тетрах: Дбрм — *въздѣльницѣ* Мк 14.13, по-видимому, испорченное *въ скѣдѣльницѣ*; Л 22.10 — *въ скѣдѣльницѣ*, этот же вариант с незначительными фонетическими искажениями находим в Бан Ив Алекс Шаф; Търн — *скѣдѣльницѣ* Л 22.10 и *въ камѣницѣ* Мк 14.13.

В греческом тексте для обозначения сосуда для воды в обоих анализируемых стихах употребляется *κέραιον* в Вульгате в Мк 14.13 находим *lagoena* 'фляга в форме бутылки с двумя ручками', в Л 22.10 — *amphora* с аналогичным значением; в ветхозаветных текстах, по свидетельству словаря под ред. Дж. Хастингса, используются лексемы: *kad*, *pebel*, *bath* (только Ис 5.10), причем отмечается, что эти сосуды специально снабжены ручками для носки воды [4, р. 111, 886]; в переводе евангельских текстов на еврейский в Антверпенской библии в обоих случаях находим лексему *gābab* 'кувшин'.

В экзегетической литературе чтения Мк 14.13 и Л 22.10 толкуются как результат провидения Иисуса: апостолам встретится человек, несущий сосуд с водой. При этом Ф. Каррингтон настаивает на том, что встреча с человеком, несущим воду, не имеет никакого символического смысла, кроме того, что любое приготовление к празднику требует свежей воды [5, р. 308]. Смысл обоих стихов толкуется однозначно: Иисус посылает учеников на встречу с водоносом, говоря, что празднование Пасхи должно состояться у хозяина дома, в который войдет водонос. На этом основании мы можем полагать, что и в соответствующем пассаже евангелия от Матфея Иисус посылает учеников именно к водоносу, а не к абстрактному «некоторому лицу», как обычно переводят *ὁτις*. Обращаясь к греческому языку, находим слово *δῆλονος-δῆλονος* со значением 'круглый сосуд' [6, р. 1,374], которое этимологически восходит к *δίῳη* 'вращение, круговорот, водоворот', ср. глаг. *δῆνω* 'кружиться' [7, S. 395]. Таким образом, кроме греческого *δῆλονος*, среди соответствий нашего слова есть фонетическая и семантическая опора для появления гапакса *дина* в значении, близком к контекстуальному 'водонос'.

Из славянских дублетов перевода стиха Мт 26.18 интересно рассмотреть слово *оньсица*. Оно известно в значении неопределенного местоимения (ср. греч. *ὁτις*) и широко употребляется в этом значении в древнерусском языке (ср. словари И. И. Срезневского и В. Даля), в церковнославянских памятниках и в старославянском языке [8, с. 127], в частности, в Супрасльской рукописи.

Но кроме этого основного значения, И. И. Срезневский дает еще одно: 'название одного из крюковых знаков' [9, т. II, с. 675]. Если вспомнить, что сосуд для воды, употребляемый водоносом, был снабжен ручками

или крючком, которым прикреплялся к коромыслу, то семантическая связь с «сосудом для воды» становится очевидной (ср. также у В. Дала *крючок* — ‘чара с крючком, чтоб покупатель сам черпал вино’ (10, т. II, с. 208]). Это представляется тем более убедительным, что из всех многочисленных контекстов в евангелиях, где употребляются неопределенные местоимения, слово *оньсица* находим только в Мт 26.18. Не говорит ли это о его особом значении в данном контексте, значении, которое было побочным, выступало более редко в сравнении с более употребительным значением ‘некоторый, какой-то, некий’, и вспомнить о нем нас заставляет лишь гапак *дина* из Ассеманиева евангелия?

Что касается метонимического переноса значения сосуда на лицо, носящее этот сосуд, то он является обычным, ср. *водонос* — ‘сосуд для воды’ и ‘человек, носящий этот сосуд’ [10, т. I, с. 220]; так же *скядбльникъ* — ‘гончар’ и ‘глиняный сосуд’ [9, т. III, с. 396–397].

2. Некоторые евангелия XIII–XIV вв. — Никольское, Банишское, Кохно, Синод — 68 — в древнейшем апракосном чтении (стих Мт 6.30) — имеют вместо обычного варианта *сбно сельное* словосочетание *сбно зеленое*. Употребление этого текстологического дублета в Никольском евангелии Словарь старославянского языка АН ЧССР квалифицирует как ошибочное написание вместо *сбно сельное* [11]. Но эта ошибка проникла в евангельские тексты, существенно различающиеся между собой по типу текста и по редакциям. Никольское евангелие известно своими архаическими чертами (богомильское евангелие), евангелие Кохно относится к одному из древних текстологических типов — к группе памятников, близких Ас Зогр Ник и Остр. Банишское евангелие — среднеболгарский тетр XIII в., который по своим лексическим особенностям в одной части (Мт, Мк, Л, И 1.1 — И 12.10) близок к каноническим тетрам типа Мар, а в части И 12.10 — И 21.25 сближается с текстами преславской редакции.

Рассматриваемый стих Мт. 6.30 читается на третье воскресенье по Пятидесятнице и входит в число древнейших апракосных чтений. Обращаясь к его референтным связям, выясняем, что на библейских землях «...для бытовых целей использовали печь (др.-евр. *tannûr*, греч. *κλίβανος*), представляющую собой яму в земле в форме большого кувшина, стены которой вымазаны обожженной глиной. Топливом служили трава, колючки или сухие веточки, которые быстро раскаляли печь» [12, т. III, р. 637]. Греко-латинский словарь Нового Завета называет это топливо по-латински *virens spica* — ‘зеленый колос’, отмечая: «У евреев было в обычае сжигать такие колоски, чтобы готовить» [13, р. 1718]. В многочисленных библейских контекстах употребляются сочетания четырех слов — наименований травянистой растительности — *iegeq, hažîr, deše êsêb* — с переводом в Острожской библии и в произведениях Иоанна Экзарха *трава зелена (я), зелень травная, зелие травное*, а также *сбно травное* в соответствии с греч. *βοτάνη ὑβότου*. В связи с этим возникает вопрос, не является ли исконным вариантом стиха Мт 6.30 именно словосочетание *сбно зеленое*, которое впоследствии было заменено и отредактировано справщиками в *сбно сельное*? Кроме того, вариант *сбно зеленое* мог быть поддержан контаминацией *зеленое — земляное*. Во многих евангелиях XIV в. в слове *земельной* согласный *м* выносится в надстрочный знак под титлом; например, в Одесском евангелии 1/88 читаем: и *зели* 1566, на *зе лю* 3296. На существование в древнееврейском языке у существительного *земля* (*egez*) в атрибутивной функции значения ‘полевой, дикорастущий’ обращает внимание Ф. Елеонский [14, с. 24]. Легко допустить, что это словосочетание, заимствованное из древнееврейского, употреблялось средневековыми книж-

никами как штамп библейского языка. Действительно, в языке И. Экзарха, постоянно пользовавшегося лексикой и фразеологией Ветхого Завета, дважды встречается прилагательное *земнии* в значении 'полевые, дикорастущие', причем оба раза такое употребление вызывает недоумение Р. Айтцетмюллера.

86a21: *гла бжи ѿ ѿзде. и вси родове земний. и доубийнии прозебоше.* Перевод Р. Айтцетмюллера: *глазь божи ѿзде и вси родове садовънии и дѣбинни проза боша* с примечанием: «родове земний — бессмысленно (ist sinnlos), греч. отсутствует. Если же принять для слова *земной* значение 'полевой', как в ветхозаветных текстах, то его употребление в вышеприведенном контексте оказывается не только не бессмысленным, но вполне уместным: «по гласу Божьему проросли все полевые травы и деревья», ср. Апокалипсис 9.4: *да (не) ѿдетъ траве земльне* [15].

103c16: *и вса трава. и въсь злачный родъ и земланыи*, греч. *Πᾶσα δὲ βοτάνη καὶ πᾶν λαχάνηρον γένος* с переводом Р. Айтцетмюллера *земланыи — зелиланыи*, очевидно, с опорой на греческий *λαχάνηρον* при полном игнорировании *земланыи*, стоящего в подлиннике И. Экзарха.

Таким образом, вариант евангельских текстов *сѣно зеленое* не является случайной опiskой, его следует рассматривать как рефлекс древнейшего фразеологизма *трава земльнаѧ* с поздними наслоениями и контаминациями, заставлявшими избегать в славянском переводе стиха Мт. 6.30 явно неуместного здесь варианта *сѣно* (ср. более адекватный перевод Явно. кн.: *травѧ полевѧ*).

Любопытно отметить, что в переводе евангельского текста на иврит, сделанном с греческого, слово *χόρτος* в Мт. 6.30 и Л 12.28 переводится словом *šmit* — 'стог, сноп' [16]. Слово *šmit* известно масоретскому тексту, но употребляется только в контекстах Ветхого Завета, подтверждающих это значение: Иер. 9.29 (падают) как снопы позади жнеца; Быт. 37.7: мы вяжем снопы посреди поля; Мих. 4.12: Он собрал их как снопы на гумно; Пс. 128.7: вяжущий снопы не наполнит горсти своей. По-видимому, здесь греческое *χόρτος* 'сено' было механически переведено искусственным эквивалентом понятия 'сено, сухая трава': 'сноп, стог', чему соответствует значение древнееврейского *šmit*. Разумеется, в евангельских контекстах Мт 6.30 и Л 12.28, где речь идет о прелести колосающейся луговой травы, такой перевод крайне неуместен.

3. Известный стих о несовместимости служения одновременно Богу и богатству (Мт 6.24 и Л 16.13) имеет разночтения по памятникам: *не можете боу работати и мамонѧ* Мт 6.24 — Мар Зогр Сав (*служити*), Мстсл Ив Ал, но Врач Кох Бан — *боу работати ни мамонѧ*, с примечанием Б. Цонева к тексту Врач: «ни ошибочно вместо и» [17, с. 107]. Действительно, в этом стихе находим союз *и* в греческом, латинском и сирийском тексте, а также в переводе на иврит [18, с. 11; 158] («не можете служить богам и Мамоне»), что исключает возможность иноязычной кальки. Стих Л 16.13 с аналогичным чтением содержит вариант *ни мамонѧ* в текстах Сав Врач Кох, остальные — *и*.

Таким образом, в Мт 6.24 три среднеболгарские евангелия — Кох, Врач и Бан — имеют «ошибочный» вариант с союзом *ни* вместо *и*, а в ст. Л 16.13 к Кох и Врач прибавляется текст древнейшего апракоса — Саввиной книги (Банишское ев. имеет в Л 16.13, подобно всем тетрам, вариант *и*). Системное рассмотрение функционирования отрицательных конструкций в предложениях с сочинительной связью в старославянском языке убедительно доказывает, что употребление в подобных конструкциях неповторяющегося усилительно-отрицательного союза *ни* именно с конъюнктивным значением было обычной нормой, ср.: *блѣдите не*

*вѣдѣште кѣнигѣ, ни силы бжи* А Мар., Мт 22.30; *нѣсть рабѣ болеи гѣ своего, ни аплѣ болеи поствлавѣшааго и* Мар, И 13.16 *приде бо Иоанѣ не ни* А ни *вѣды* Мар, Мт 11.18 и мн. др. Поэтому в ст. Мт 6.24 и Л 16.13 следует считать первичной конструкцию с *ни*, а вариант с *и* возник позднее, возможно, в результате сличения с греческим текстом, и получил широкое распространение, особенно в тетрах, путем редакторской правки с целью исправления «исконной ошибки».

4. При рассмотрении отрицания нельзя не обратить внимания на наличие вариантов одних и тех же конструкций, функционирующих то с отрицательной частицей, то без нее (за исключением моно/полинегативных конструкций, что составляет отдельную проблему).

Так, в Мт 10.38 вторая часть сочинительной группы выступает то с отрицанием перед глаголом, то без него: Мар Зогр Ас Трн Шф ИА *иже не приметъ крста своего и въ слѣдѣ мене грядетъ*, Бан Врач Дбш: *не идетъ*, Од 1/99: *не гредеть*. В греческом и латинском, подобно древнейшим славянским канонам, отрицательная частица во второй части отсутствует: *καὶ ὁς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου (οὐκ ἔστι μου ὄμιλος); et qui non accipit crucem suam et sequitur me (non est me dignus).*

Этому древнейшему образцу следует синодальный перевод: «И кто не берѣт креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Однако, как мы видели, ряд евангелий XIV в. отражает другое прочтение, с отрицанием смысла сочиненной части. В еврейском переводе, в соответствии с требованиями системы этого языка, отрицание *lo* ставится только перед первым глаголом, но сфера действия отрицания распространяется на все сочиненные конструкции, в том числе и на части сложного предложения. В. Гезениус специально отмечает: «Если два отрицательных предложения следуют одно за другим, в таком случае ...отрицание ставится только в первом предложении, простираясь и на второе» [19, с. 565; 20, S. 116]. Еще подробнее пишет об этой особенности древнееврейского языка Ф. Елеонский, приводя многочисленные примеры из текста Ветхого Завета: «...в сложных предложениях, соединенных посредством союза *и*, частица *не* ставится только в первом из них, а во втором — опускается; при переводе же еврейского текста на другой язык это опущенное *не* нужно вводить в состав речи для того, чтобы получился надлежащий смысл» [14, с. 26].

Поэтому можно предположить, что это кажущееся произвольным опущение отрицания, искажающее смысл всего пассажа, на самом деле является калькой семитского синтаксиса в евангельском тексте. С аналогичным случаем мы сталкиваемся и в стихе Мт 18.3: *аште не обратите сА и бждете (ѣко и) дѣти. не имате вънити въ црство небское* (Мар) — так во всех среднеболгарских текстах и в древнейших канонах, за исключением Саввиной книги, где выступает вариант с отрицанием перед вторым глаголом: *аште не обратите сА ни бждете* *Иако дѣти. не имате вънити въ црствие нѣское* (ни- и не) — в соответствии с общим смыслом стиха, который в данном случае правильно передает синодальный перевод, включая отрицание перед вторым предикатом: «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» [21]. В переводе Нового Завета на еврейский язык отрицание *lo* стоит только перед глаголом *šab* — ‘возвращаться’ — и перед *bā* — ‘входить’, т. е. отсутствие отрицания перед вторым предикатом сочиненной части диктуется просто законами синтаксиса еврейского языка и через греческий проникло в славянский перевод, кроме текста Саввиной книги. О том, что греческий язык Нового Завета значительно гебраизирован, особенно по сравнению с языком

эллинистической литературы, пишут все исследователи языка греческих версий [22, р. 17—18; 23, р. I; 24, S. IV, 167; 25, с. 341]. Р. Х. Чарльз писал: «Почти на каждой странице греческого текста есть отрывки, которые не могут быть ни объяснены, ни переведены без обращения к еврейскому» [26, с. VI].

Если отрицание входит в общий смысл слова, выражаясь, например, старославянским префиксом *не-*, то этот префикс может быть опущен в каком-нибудь из евангельских текстов, особенно если этот отрицательный смысл в языке подлинника выражен не с помощью употребления традиционных, привычных способов (греч. *ου*, *μη*, лат. *non*, др.-евр. *lo*, *al*). Так, вместо слов *въ неправеднѣмъ жити не бысте върши* Л 16.11, Мар Зогр Сав Ас Остр Дорм Бан Кох Трн Шф читаем в тексте Врачанского евангелия: *въ праведнѣмъ мамонѣ вър'нь не бысте*. Греческое соответствие содержит отрицательный префикс *α-*, латинское — префикс *in-*, в еврейском переводе употреблено имя *āvel* 'несправедливость'. Если сопоставить это с наличием в тексте Врачанского евангелия многочисленных непереуведенных грецизмов, в том числе, например, уникальный грецизм *дидакаль*, не встречающийся в других евангельских текстах, то можно допустить, что отсутствие отрицательного префикса в Л 16.11 является результатом неточно переведенного отрывка протографа.

Целый ряд других дублетных форм с произвольной постановкой или отсутствием отрицания в среднеболгарских евангелиях, особенно в Добрейшевом и Врачанском, может свидетельствовать о том, что употребление отрицательных формантов не регламентировалось специальными правилами, а было субъективной прерогативой переписчика.

С точки зрения текстологической это может являться показателем нестабильности текста, например, Врачанского евангелия (наибольшее количество «ошибочных» отрицательных конструкций, не встречающихся в остальных Евангелиях). Возможно, этот текст не подвергался, в отличие от других, постредаторской правке. По числу индивидуальных чтений при текстологическом анализе он превышает остальные памятники, конкурируя с Саввиной книгой и Добромировым евангелием.

Перечислим наиболее показательные отклонения в отрицательных конструкциях: *въ день въ ньже чаєте и въ ча въ нь же не вѣсте* Мт 24.50, все остальные: *не чаєте*, греч. ... ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ἣ οὐ γινώσκει. лат.: *in die qua non sperat et hora qua ignorat; Иако не хощете да творятъ вамъ члвци. и вы творите такоже*, Л. 6.31 вместо: *Иако хощете; иже не имѣтъ да не мнѣтъ сА имѣѣ. ѿ емлетъ сА ѿ него* Л 8.18 вместо: *мнѣтъ сА имѣѣ*, греч. ὅς γὰρ ἂν ἐχη, δοθήσεται αὐτῷ, καὶ ὅς ἂν μὴ ἔχη, καὶ ἔδοξεῖ ἔχειν ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ, лат.: *Qui enim habet, dabitur illi, et quicunque non habet, etiam quod putat se habere, auferetur ab illo; не съмотрите кринь сельны* Мт 6.28, греч.: Καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ, лат. *Considerate lilia agri...*, все остальные: *съмотрите кринь сельныхъ*, Сав.: *разумѣмъ цвѣты сельныА; ѿстанетъ камень на камени* Л 21.6 — Дбш и Бан, все остальные: *не останетъ* (Мар Зогр Дбрм Трн Шф, чтение отсутствует в апракосах Ас Сав Кох Врач), греч. οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, лат. *non relinquetur lapis super lapidem*. Таким образом, рассмотрение нестандартных вариантов текста, часто относимых к ошибкам или опускам переводчика, может пролить свет на некоторые малоисследованные языковые черты, а также на особенности перевода Евангелия.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Иванова-Мавродица В., Джурова А.* Асеманиевото евангелие. София, 1981, с. 70–78.
2. *Jagič V.* Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache. Berlin, 1913.
3. *Воскресенский Г. А.* Характеристические черты четырех редакций славянского перевода евангелия от Марка. М., 1896.
4. A Dictionary of the Bible. Ed. by J. Hastings. Edinburgh, 1924, v. 3.
5. *Carrington Ph.* According to Mark. A running commentary of the oldest Gospel. Cambridge, 1960.
6. *Liddell H. G., Scott R. A.* A Greek-English Lexicon. Oxford, 1951.
7. *Frisk H.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1954.
8. *Цейтлин Р. М.* Лексика старославянского языка. М., 1977.
9. *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., т. II, 1902, т. III, 1912.
10. *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I–IV. СПб., 1880–1882.
11. Slovník staroslověnkého jazyka. D. I. Praha, 1968, s. 669.
12. A Dictionary of the Bible. Ed. by J. Hastings. Edinburg – New York, 1898.
13. *Pasoris G.* Lexicon graeco-latinum in Novum Domini N. I. Chr. Testamentum. Lipsiae, 1702.
14. *Елеонский Ф.* Следы влияния еврейского текста и древних, кроме 70-и, переводов на древнейший славянский перевод Библии. СПб., 1905.
15. *Aitzetmüller R.* Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Т. 1–7, Graz, 1958–1975.
16. Biblia Hebraica. Geneve, 1618–1619.
17. *Цонев Б.* Врачанско евангеле. София, 1914.
18. Новый Завет по-еврейски и по-русски. Printed in Great Britain by Richard Clay Ltd. Bungay, Suffolk, 1987.
19. *Гезениус В.* Еврейская грамматика. СПб., 1874.
20. *Steuernagel S.* Hebräische Grammatik. Leipzig, 1961.
21. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Printed in Great Britain by Richard Clay Ltd, Bungay, Suffolk, 1989.
22. *Hill D.* Greek Words and Hebrew Meanings: Studies in the Semantics of Soteriological Terms. Cambridge, 1967.
23. Biblia sacra. Antverpiae, ex. CHR. Plantinus, 1572.
24. *Metropolit Dr. Parion (Ivan Ohijenko).* Die Hebraismen in der altkirchenslavischen biblischen Sprache. Münchener Beiträge zur Slavenkunde. Festgabe für P. Diels. München, 1953.
25. *Евсеев И.* Заметки по древне-славянскому переводу Св. Писания. – Известия Императорской Академии Наук, 1898, т. VIII, № 5.
26. *Charles R. H.* The Greek Versions of the Testaments of the 12 Patriarchs. Oxford, 1968.



## МАТЕРИАЛЫ К ПРАКТИЧЕСКОМУ УЧЕБНИКУ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

Цель начинающихся публикаций — дать ответ на вопрос о том, что должно содержаться в современном учебнике церковнославянского языка. Авторы понимают, что при нынешнем уровне изученности этого языка создание корректной и одновременно общедоступной книги — задача едва ли выполнимая. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию не учебник, а материалы к нему.

В первых номерах будут публиковаться статьи, касающиеся проблем изучения и преподавания церковнославянского языка. После статьи о графико-орфографической системе церковнославянского языка следует описание морфологии. Поскольку этот уровень грамматики разработан лучше других, описание будет достаточно последовательным. Затем речь пойдет о синтаксисе, который изучен значительно хуже, и, наконец, мы коснемся некоторых проблем самантики и риторики.

Содержание статей, составляющих эту публикацию, отражает точку зрения их авторов, которые, будучи единомышленниками, могут расходиться в понимании конкретных явлений церковнославянского языка. Уроки рассчитаны приблизительно на 10 номеров журнала.

Эта публикация была бы невозможна без любезной помощи научно-производственного издательского центра «Мефодий», разработавшего принципы набора церковнославянских текстов — авторы пользуются возможностью выразить свою благодарность.





ТОЛСТОЙ Н. И.

## К ВЫХОДУ В СВЕТ НОВЫХ УРОКОВ ПО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ

Церковнославянский язык, который мы можем услышать в русских православных церквях нашей страны и «великого русского зарубежного рассеяния», в сербских, болгарских и македонских церквях — язык с тысячелетней судьбой и богатой традицией. Возникнув в качестве сакрального — священного, богослужебного языка, он в течение времени расширял свои функции, принимал роль литературного светского языка или являлся источником ряда славянских литературных языков, прежде всего русского, болгарского и сербского, чтобы к нашему времени, к XX веку, вновь стать почти исключительно языком божественного благовествования, языком церкви.

Его живительный первоисточник, язык святых и равноапостольных Кирилла и Мефодия, известный в научной среде как старославянский, был одним из древнейших книжных языков Европы. Помимо греческого и латинского, корни которых уходят в дохристианские античные времена, можно назвать только три индоевропейских языка, не уступающих свое старшинство старославянскому. Это — готский (IV век), англосаксонский (VII век) и древневерхненемецкий (VIII век). Старославянский язык оправдывает свое название, ибо он, как и его первая азбука — глаголица, был создан божественным вдохновением святых Солунских Братьев для всех славян и бытовал сначала в среде славян западных и западной части южных славян — моравян, чехов, словаков, поляков, паннонских и альпийских славян, а затем славян южных в пределах македонских, болгарских и сербских и в последнюю очередь у славян восточных. В их среде, более тысячи лет тому назад, в результате крещения Руси он укоренился, расцвел «яко кринъ прѣчистии» и дал удивительные образцы богодуховенного, смиренномудрого и целомудрого писания, к которым обращались многие поколения наших дедов и отцов.

Без церковнославянского, бытовавшего на Руси, трудно себе представить развитие русского литературного языка во все эпохи его истории. Мы и сейчас, порой подсознательно, несем этот священный язык и пользуемся им. Произнося поговорку *Устами младенца глаголет истина*, мы не произносим ни одного коренного русского слова [на русском следовало бы сказать *Ртом ребенка говорит (или балакает) правда*], но наше ощущение таково, что мы произносим русские книжные слова. Можно было бы сослаться на знаменитое сочинение Михайло Ломоносова «Предисло-

вие о пользе книг церковных в российском языке», (1757), но я приведу более близкое нам по времени и менее известное высказывание поэта Вячеслава Иванова, который сам пытался создать несколько своих сочинений на языке, близком к церковнославянскому. В статье «Наш язык» он писал: «Язык, стяжавший столь благодатный удел при самом рождении, был вторично облагодатствован в своем младенчестве таинственным крещением в животворящих струях языка церковнославянского. Они частично претворили его плоть и духовторно преобразили его душу, его „внутреннюю форму“. И вот, он уже не просто дар Божий нам, но как бы дар Божий сугубо и вдвойне, — преисполненный и приумноженный. Церковнославянская речь стала под перстами боговдохновенных ваятелей души славянской, св. Кирилла и Мефодия, живым слепком „божественной эллинской речи“, образ и подобие которой внедрили в свое изваяние приснопамятные Просветители» [1].

Тот церковнославянский язык, который мы слышим в храмах и находим в церковных книгах, принято в науке называть новоцерковнославянским. Этот термин ввел известный палеославист Вячеслав Францевич Мареш, посвятивший новоцерковнославянскому языку несколько работ. На Третьей международной научной церковной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси (Ленинград, 31 января — 5 февраля 1988 г.) В. Ф. Мареш выступил с докладом «Старославянский язык нынешних литургических книг». В докладе он сообщил, что «в наше время существуют три типа новоцерковнославянского языка: 1) русский тип, который употребляется как литургический язык в богослужении византийского обряда (произношение приспособляется к языковой среде); 2) хорватско-глаголический тип, который употребляется в богослужении римского обряда у хорватов (с 1921 до 1972 гг. также у чехов); 3) чешский тип, с 1972 г. употребляемый в римском обряде у чехов (оформлен научным путем в 1972 г.)». Недавно изданы служебники римского обряда на новоцерковнославянском языке хорватско-глаголического варианта и варианта чешского. Как все литургические книги, они изданы анонимно. Известно, что хорватский вариант приготовлен И. Л. Тандаричем, а чешский — В. Ткадличком. Таким образом церковнославянский язык можно услышать не только в православных храмах, но и в храмах католических, правда, в последних он звучит крайне редко, в исключительных случаях и исключительных местах.

В России нынешней церковнославянский многими ощущается как язык «мертвый», т. е. сохранившийся только в церковных книгах и службах, во всех других случаях, даже при домашнем чтении Священного Писания, в ходу — родной русский язык. Не так было в дореволюционные времена. Если обратиться к собственным детским и юношеским воспоминаниям, а волею Божьей я учился в старой русской школе и гимназии в эмиграции в Белграде, можно вспомнить, что Закон Божий преподавался не менее десяти лет — два года в школе и восемь лет в гимназии (общее среднее образование длилось 12 лет: четыре в школе и восемь в гимназии)<sup>1</sup>. Молитвы и Евангелие (Новый Завет) были исключительно на церковнославянском языке и только Катехизис был на русском и то весьма архаическом (например: «Дабы мы могли увѣровать сей тайнѣ, Слово Божіе вразумляетъ насъ о ней, черезъ сравненіе Христа съ Адамомъ, Адамъ естественно есть глава всего челоуѣчества...» и т. д.). На воскресной обедне стояли в гимназической церкви строем, иногда перед большими праздниками отстаивали вечерни, часть класса (счастливики!) пела в церковном хоре, но ходили и в городскую русскую

<sup>1</sup> В старшем классе мужской русской гимназии моим законоучителем и духовным отцом был протоиерей Георгий Флоровский.

Троицкую церковь. Церковнославянский язык звучал постоянно, церковнославянские тексты (заповеди Моисея, заповеди блаженства, притчи из Евангелия) заучивались наизусть, как и латинские тексты или тургеневские стихотворения в прозе, часть гимназистов прислуживала в церкви, некоторые читали часы и исполняли обязанности псаломщиков. Церковнославянский язык звучал чаще, чем воспринимался зрительно. Именно поэтому в дореволюционных руководствах для средней школы по церковнославянскому языку давалась общая грамматическая схема, как для русского, а в университетских учебниках по старославянскому языку, как правило, предлагался праславянский комментарий и праславянская схема для понимания происхождения и родословного места церковнославянского среди других славянских и индоевропейских языков. Иными словами, рассматривалась лишь лингвистическая сторона предмета, ибо церковная сторона была как бы бытовой, понятной, с детства воспринятой.

Двадцатое столетие в России в корне изменило это положение. Для многих церковнославянский из «полуживого» или точнее, относящегося к «жизни иной» превратился в мертвый, а то и в чуждый язык. Теперь многим его надо не воспринимать, а изучать, и не только с лингвистической стороны, но и со стороны историко-литературной, культурологической и что, самое главное — религиозной, богословской. Нужно менять многое. И форму, и смысл и цели преподавания старославянского языка в высшей школе, на факультетах филологического и историко-филологического профиля (см. статьи Б. А. Успенского, Н. И. Толстого и др. [2]). В аудиторию пришел новый слушатель, а вне аудитории — новый читатель славистической историко-филологической литературы. Среди верующих много неопитов, жаждущих скорее приобщиться к «источнику воды живой», к церковнославянским сакральным и книжным текстам. Поэтому нужен учебник особого типа, нужны уроки, научающие распознавать не только формы текста: аорист, двойственное число, дательный самостоятельный (как это делается на практических занятиях по старославянскому языку в высшей школе), сколько смысл текста, фразы, словосочетания, отдельного слова в фразе. Создатели предлагаемого читателям курса это хорошо сознают. Они сознают также, что к курсу обратятся люди с разной филологической подготовкой и с очень различными интересами и жизненными целями, они руководствуются девизом *«могий вмѣстити да вмѣститъ»* и принципом открытых дверей своего дома или открытых страниц учебника для каждого.

Автор вступительных слов «Вместо исторического очерка» не всегда четко разграничивает то, что относится к раннему, старославянскому периоду развития языка, и то, что касается церковнославянского языка XVIII—XX вв. Мне кажутся несправедливыми сетования о русистике якобы два века приверженной «живому» языку в противовес книжному, о малой изученности синтаксиса старославянского языка, об отсутствии работ по его стилистике, равно как и утверждения о большей «морфологической активности» церковнославянского языка по сравнению с русским, о том, что «плетение словес» связывали почти исключительно с Тырновской школой патриарха Евтимия, не обращая внимания на более ранние образцы словесной орнаментики, наконец, что поздние литературные языки Европы создавались путем отбора и синтеза диалектов. Эти спорные или несколько небрежно и скоропалительно изложенные положения нужны автору для определенной, достаточно важной и благородной цели — приготовить читателя к осознанию и восприятию современного нам церковнославянского языка как языка, слагавшегося более тысячи лет и выражающего сегодня, как и прежде, начала высокой духовности, нравственной чистоты и твердости веры. В этой связи следует

признать уместным отношение к церковнославянскому языку как к иконе, создающей сложно преобразованную картину мира, воспитывающей «симфоническое» восприятие и понимание, т. е. пробуждение в памяти широкого круга контекстов изображенного образа либо произнесенного или написанного слова, контекстов не столько реального, жизненного плана, сколько духовного и внеземного.

Журнал «Славяноведение» проявил своевременную и полезную инициативу, предложив своим читателям серию уроков церковнославянского языка поздней русской редакции. Авторы этих уроков — известные ученые и слависты, преподававшие этот язык ряд лет.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Иванов Вяч.* Наш язык.— В кн.: Из глубины. Сборник статей о русской революции. М., 1990, с. 146.
2. Актуальные проблемы изучения и преподавания старославянского языка. М., 1984.



## ВВЕДЕНИЕ

### 1. Вместо исторического очерка.

Церковнославянский язык — результат долгого (восьмивекового)<sup>1</sup> развития старocerковнославянского языка (по традиции не очень точно называемого старославянским)<sup>2</sup>, то есть русского извода языка переводов с греческого, выполненных святыми Кириллом и Мефодием и их учениками. Ранняя история церковнославянского языка (его диалектная основа, сопоставление классических кодексов, наконец, сама история утверждения «славянского» языка в качестве литургического) изучается интенсивно. Характерные черты русского извода в его первоначальной версии (орфография, произношение, некоторые грамматические отличия) отмечаются в каждом курсе исторической грамматики русского языка. Но история дальнейшего развития, подводящая к церковнославянскому языку нашего времени, не изучена ни в малейшей мере. Сама эта проблема фактически не стояла в славянском языкознании вплоть до первой попытки такого исторического обзора — книги Б. А. Успенского [2]. Поразительный факт «белого пятна» такой величины имеет свои причины: среди них — и старые закономерности, и новые предрассудки.

К новым предрассудкам относится уже двухвековая приверженность русистики к «живому» языку в противовес «книжному», «искусственному», кодифицированному; безусловное предпочтение оригинальных текстов переводным (а самый чистый церковнославянский язык принадлежит как раз переводным текстам — Писанию, патристике, богослужебным книгам и под.); предпочтение более архаичного состояния позднему (т. е. восприятие истории церковнославянского языка как деградации); лжепатриотическая установка на автохтонность литературного языка и идиосинкразия ко всему сакральному и культовому.

---

Седакова Ольга Александровна — канд. филол. наук, член Профессионального комитета литераторов.

<sup>1</sup> Временем окончательного установления норм церковнославянского языка иер. Алипий [1, с. 14] считает царствование Елизаветы. Какие изменения были внесены с тех пор в тексты, вероятно, никем не учитывалось.

<sup>2</sup> Этот термин вызывает представление о некоем общем «славянском» языке, который принадлежит к области реконструкции. Но, главное, он не передает основной особенности этого языка — его богослужебного назначения. Абсолютная связь с церковной словесностью отличает «славянский» язык от греческого и латыни, сфера применения которых не ограничивалась сакральной и литературная история которых началась задолго до христианизации. Это отличие вызывало особую гордость славянских книжников (см. трактат «О письменах» Черпорица Храбра, рассуждения Константина Костенечского).

Старые же, внутренние закономерности — это поразительное «грамматическое молчание» самого церковнославянского языка, отсутствие рефлексии — в виде грамматики, риторики, нормативных или описательных обобщений языковой практики. Первые опыты таких пособий связаны с вестернизацией русской культуры. Средневековое же русское обучение языку совпадало с катехизацией; образованность означала начитанность, а не навыки анализа и толкования. Говоря о «начетническом характере» такого знания, исследователи остаются в плену позднейшего представления о понимании как переводе (что это значит?). Но понимание, исключющее всякий перевод, — а такое и предполагалось в русском средневековье (ср. недоверие к любому «мнению» и толкованию, приобретающее уже агрессивно охранительный оттенок ко времени споров с «нестяжателями»), — остается пониманием не в меньшей, а может, и в большей степени, чем толкующее. Вопрос, на который отвечает такое понимание, то есть усвоение смысла, формулируется, вероятно, не «что это значит?», а «что из этого следует?». Такой характер понимания, строящий не параллельные ряды значений, а как бы причинно-целевые цепочки смыслов, остается актуальным для восприятия священного текста. Истолкование и некоторый «перевод», которые сообщает грамматический анализ, исполняют только корректирующую функцию, предохраняя от построения ложных цепочек, — и не заменяя собой смысла, о котором шла речь.

Итак, кирилло-мефодиевский язык изучается как мертвый язык в перспективе компаративистики (реконструкции древнейших форм и т. п.); научный интерес сосредоточен на фонетике и морфологии. Лексика, семантика и синтаксис — самые необходимые для практического понимания текстов ярусы языка — в сущности не изучены и не входят в учебные курсы «Старославянского языка». Благодарный труд сопоставления переводов с греческим оригиналом едва начат, а ведь именно здесь открывается смысловое своеобразие церковнославянского языка, корни которого нельзя обнаружить в живом диалектном материале (см. об этом дальше).

Дальнейшая история языка и текстов на нем изучается в перспективе «ошибок», «описок», вкрапления элементов «живого» местного языка. Естественно, для такой цели интереснее возможно более удаленные от церковной богослужебной книжности тексты, в которых чистота языка соблюдается с меньшей строгостью. Самая общая, априорная и в сущности недоказанная концепция развития литературного национального языка состоит в борьбе «живого» с «книжным» — и, в конце концов, в победе первого.

Но внутри собственной области, в литургических, житийных, богословских текстах церковнославянский язык не только не деградировал, но обогащался и усложнялся с ростом переводческого и оригинального творчества. Особенно плодотворным был период так называемого «второго южнославянского влияния», к которому восходят, в частности, многие орфографические новации нынешнего языка в сравнении с кирилло-мефодиевским.

При отсутствии конкретной истории церковнославянского языка мы лишены возможности делать какие-либо обобщения о тенденциях его изменения от X к XVIII веку. Нам приходится воспринимать многослойные тексты (многократно переработанные древние) и поздние, созданные после стабилизации системы, в одной плоскости. Мы ничего не можем сказать о стилистике этого языка, воспринимая его в целом — на фоне русского — как высокий, витийственный, отвлеченный<sup>3</sup> и получая впечатле-

<sup>3</sup> Отвлеченным он представляется в русской перспективе в силу того, что славянская лексика противопоставлена в нем русской как отвлеченная — конкретной (глаза — очи, ворота — врата и под.). Внутри же славянского, вне этого противопоставления, эта лексика имеет прямое, вполне конкретное значение. Символические употребления слов («млеко учения», «баня пакибытия») относятся к тропам, т. е. к поэтике

ние более «простого» и более «изошренного» слога скорее из содержательных, чем из собственно языковых моментов.

Можно — крайне обобщенно — говорить о двух полярных стилистических тенденциях: «простом слоге» и «украшенном», «плетении (или извитии) словес» (плѣхѣ). Становление последнего обыкновенно — и не совсем справедливо — относят к эпохе «второго южнославянского влияния» и связывают с исихастской инспирацией. Однако «извитым» стилем написано уже «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона и панегирические проповеди Кирилла Туровского: естественно, за ними стояли образцы византийской гомилетики. Источники «извития словес» обнаруживаются в библейской поэзии (особенно в Псалтыри) и в эллинистической риторике азиатского стиля [3]. Характерные черты стиля «извития словес» — особая интенсивность звукового строения, морфологическая изобретательность (обилие новосоставленных речений, игра однокоренными словами и словообразовательными моделями, этимологические фигуры), сгущение синонимов, сравнений, антитез, перифраз<sup>4</sup>; построение текста на развитии одного семантического мотива (см. мотив «света» в Тропаре Рождества: продолжение текста на стр. 79).

Навык чтения инверсий, «извитого» синтаксиса совершенно необходим для восприятия церковнославянской гимнографии, как переводной, так и оригинальной.

Что касается жанрового распределения «простого» и «украшенного» стилей, то приблизительно можно сказать, что стихотворные по своему происхождению тексты (псалмы, акафисты, каноны, тропари, многие молитвы) тяготеют к «плетению словес»; к ним примыкают тексты торжественного красноречия (классическая гомилия, послание). Повествовательные же тексты (древнейшие жития, патерики, прологи) тяготеют к большей простоте языка и стиля. Однако это распределение не абсолютно: можно встретить и чрезвычайно «украшенные» жития и достаточно «простые» молитвы и проповеди.

Впрочем, описание стилистики церковнославянского языка и его отношений с исходным кирилло-мефодиевским — дело самого далекого будущего. Мы начинаем с них только для того, чтобы показать, в каком нетропутом пространстве окажется каждый, кто попытается исследовать церковнославянский язык.

Существующие учебники церковнославянского языка (дореволюционные) предполагают присутствие учителя, усвоение по текстам с комментарием: от изучения чисто грамматических схем, данных в них, до действительного понимания текстов — огромное расстояние, которого в одиночку не преодолеть. Необходимость же какого-то пособия по языку, который за последние десятилетия становится почти непроницаем для современного русского человека (в силу разрыва духовной традиции, упразднения религиозного просвещения и образования, падения общего гуманитарного уровня, в частности, незнакомства с древними языками, снижения языковой компетенции в родном языке и т. п., и т. п.), обсуждать не приходится. Эту узкую задачу практического курса, не углубленного специальной лингвистической проблематикой, и ставит перед собой задуманное пособие. Его ошибки, упущения, неудачи легко предсказать. За все это мы просим прощения у читателей и с благодарностью будем ожидать поправок и уточнений.

текста, а не к словарным значениям (это следует помнить, читая, например: «всех живущих очей», или «устие мои отверзиши и уста мои возвестят хвалу Твою»: никакого «возвышения» предмета, как в русск. лит. «очи» и «уста», здесь не предполагается: смысл конкретен и нейтрален).

<sup>4</sup> Бёртнес справедливо отвергает характеристику этого стиля у Д. С. Лихачева как «экспрессивно-эмоционального»: в «извитии словес» явно преобладает интеллектуальное и конструктивное начало [4].

РѢТКО ТВОѢ, ... КОЗІІА МІРОВИ СВѢТЪ РАЗУМА: ВЪ НѢМА  
БО СВѢЗДАМЪ САДЖАЦІИ СВѢЗДОУ С҃ЧАХУСА, ТЕБѢ КЛА-  
НАТИСА САЦУ ПРАВДЫ, И ТЕБѢ ВѢДѢТИ СА ВЫСОТЫ  
КОРТОКА: ГЛ҃И, САВА ТЕБѢ; или мотив «слияния-разделения»  
в Кондаке св. Пятидесятницы: Б҃ГДА СИЗШЕДА ІЗЫКИ САЦА,  
РАЗДЕЛШЕ ІЗЫКИ ВЫШНІИ: Б҃ГДА ЖЕ ОГНЕННЫА ІЗЫКИ  
РАЗДАШЕ, ВЪ СОЕДИНѢНІЕ СА ПРИЗВА: или мотив «содержи-  
мого-содержащего» в «Царю небесный»: ИЖЕ ВЕЗДАѢ САИ, И  
СА ИПОАНАЖИ, СОКРОВНИЦЕ САГІХА, И ЖІЗНИ ПОДАТЕАУ,  
ПРИДИ И ВЕАІСА ВЪ НЫ; Особой красоты разработка семан-

тических мотивов — дерева, моря, света и др. — достигает в  
икосах «Акафиста Пресвятой Богородице»). Тексты «извитого  
стиля» представляют собой самую большую сложность для  
изучающих церковнославянский язык: уже адекватное понима-  
ние их метафорики требует значительной искусственности:  
метафоры здесь имеют, как правило, не случайный, а доктри-  
нально обоснованный смысл; новозаветный образ дается в них  
через «тень» его в Ветхом Завете (о Богородице в метафорах  
Исхода: РАДУСА, МОРЕ, ПОТОПИВШЕЕ ФАРАОНА МЫСЛЕН-  
НАГО: РАДУСА, КАМЕНЮ, НАПОИВШІИ ЖАДУЦЫА ЖІЗНИ.  
РАДУСА, ОГНЕННЫЙ СГОБЕ, НАСТАВАЖИ САЦЫА КО ТЪМѢ  
(Икос 6). Но первая трудность состоит уже в распутывании  
инверсированного порядка слов: уже «выпрямленис» синтаксиса  
делает стих значительно понятнее. Так, стих из «Службы об  
усопших»: Ѡ КѢКА МЕРГВЫХА ДНЕСЬ ВРѢХА ПО ИМЕНИ, КѢ-  
РОУ ПОЖІВШИХА САГОЧЕИТНУ, ПАМАТЬ СОТВОРЈАЩЕ КѢРНІИ,  
СА И ГЛА КОПОИМЪ в «восстановленном» нормальном поряд-  
ке будет выглядеть так: ДНЕСЬ, КѢРНІИ, КОПОИМЪ СА И  
ГЛА, СОТВОРЈАЩЕ ПО ИМЕНИ ПАМАТЬ ВРѢХА Ѡ КѢКА  
МЕРГВЫХА, КѢРОУ ПОЖІВШИХА САГОЧЕИТНУ).

Из-за инверсированного порядка слов возможно неточное  
понимание и такого важнейшего текста, как «Достойно есть»:  
ДОСТОЙНУ Б҃ГТЪ, САКВ ВОИСТИНУ, САЖАТИ ТЛА САЦУ...  
Слово «ВОИСТИНУ» должно быть отнесено к «Богородице»,  
(блажити Тя яко воистину Богородицу), что совершенно ясно в  
греческом оригинале.



## 2. Своеобразие церковнославянского языка.

Своеобразие церковнославянского языка было predeterminedено его происхождением. «Учители славян» не просто создали письменность для новых племен: они воспользовались материалом славянских наречий для создания языка совершенно другого склада. Если в ранних памятниках обнаруживаются разные диалектные особенности, это не означает, что литературный (точнее, книжный) язык создавался путем отбора и синтеза диалектов, как позднее литературные национальные языки Европы.

Церковнославянский язык двойствен в своей природе: в его славянскую «материю» (звуковой состав, морфологические возможности) внедрен «дух» другого, греческого языка. Что здесь имеется в виду под «духом» языка? Обыкновенно греческое начало в церковнославянском понимается узко: как круг синтаксических грецизмов, конструкций, чуждых устной речи, и круг «калек», композит, по частям передающих греческие слова (типа *добротолюбие* или *благоволение*) и нехарактерных для славянских говоров. Существеннее другое: семантика самых основных слоев в новых для славян текстах: *дух, слово, небо, дева, спасение* и под. — не была подготовлена самостоятельным развитием культурной традиции славян. И такие слова, не являясь в строгом смысле «кальками», тем не менее, представляют собой семантические грецизмы.

Перевод на еще не существующий язык, на язык, рождающийся вместе с текстами и исключительно внутри них, предпринятый Солунскими Братьями, никак не может быть сопоставлен с переводом на «народный язык» типа лютеровского. Кирилл и Мефодий и их последователи проделали уникальный труд по преобразованию языка, связывая греческие и славянские слова так, чтобы обеспечить органический рост новых значений в оболочке слова. Они напрягли семантические возможности славянского словаря с тем, чтобы создать важнейший его ярус — «отвлеченной лексики» (в терминах лексикологии) или «культурных слов» (в терминах культурологии), т. е. вложить в славянское слово ту смысловую вертикаль, на которую ушли столетия работы греческой культуры. Таких значений, какие в церковнославянском получили *дух, светъ, слово* и под. (и даже близких им), живые славянские диалекты не выработали до позднейшего времени (так, *дух* в диалектах — «дыхание, запах, жизненная сила»). Следует отметить и гибкость, восприимчивость славянского слова — и удивительный такт переводчиков: «вкладывание» новой семантики не сопровождалось насилем: нижний, конкретный смысл, аналогичный греческому (*духъ*), выводился к умозрительному или концептуальному.

Двойственная природа церковнославянского (по А. Исаченко, это «греческий язык, травестированный в славянские морфемы» [5]) имеет важнейшие последствия для практического изучения. Она провоцирует ложные славяно-русские отождествления, примеры которых можно приводить до бесконечности. Так, *озлобити* («яко озлобиша прекодобнаго») и *озлобленный* («о възковъ душе христанской, страждущей и озлобленной») означают, в отличие от русского не «сделать злым», но «причинить зло» и «претерпевший зло». Слово *верный* в русской перспективе понимается как «храпящий верность», тогда как славянский акцентирует другое: «имеющий веру, верующий». Слова *смысл* и *разум* находятся в противоположных русскому соотношениях.

И речь идет не только и не столько о семантике отдельных слов, но о самих механизмах мышления, о принципах именования реальности, увязывания в слове «видимого» и «невидимого». *Смысл* — мыслительное начало человека, «менталитет» (от *смысла чиста*), тогда как *разум* — «смысл, содержание» (*возсия мирови свет разума* и под.). Наконец, употребление *словесный* (*словесное стадо* и под.) в значении «невежественный, умопостигаемый», и *безсловесие* — «греховность вообще» непонятны без отнесения

славянского «слова» к его греческому источнику (λόγος). Такого рода мнимо понятной лексике будут посвящены конкретные комментарии в учебном курсе. В качестве общей установки можно указать следующий способ чтения славянского слова: необходимо учитывать морфологическую активность, «со-ставность» слова (как в приведенных выше случаях: *о-зл-об-ить, вер-н-ый, с-мысл*) значительно более высокую, чем в русском языке, где слова привычно принимаются целиком, не членясь на составные морфемы. Церковнославянское слово рекомендуется понимать «по частям», складывая семантику префикса, корня и т. п. Тогда становятся понятными такие церковнославянские значения, как *взяти* — «поднять, вознести» (яко к Тебе *взях душу мою; и возьмитесь, врата вечныя* и под): *вз-яти*.

Церковнославянский язык всегда был языком текстов, и поэтому позитивистски настроенная лингвистика исключает проблемы такого рода из своей компетенции, передавая их экзегетике текстов: «Затруднения такого рода относятся не к языку, а к тексту» [2, с. 191]. Нетрудно заметить, что «понимание языка» при этом сводится к различению грамматических структур типа «глокая куздра штеко будланула бокренка».

С таким разделением языка и текста связано распространенное представление о том, что в древнейшую эпоху церковнославянский был ближе к русскому (древнерусскому) и, соответственно, понятнее. Реальнее предположить обратное: при всем внешнем (морфологическом, грамматическом) сходстве он был менее понятен. Расстояние между наличной у носителей живого языка смысловой системой и новой было больше, поскольку литературный русский язык позднейшего времени вобрал многие достижения церковнославянского<sup>5</sup>.

Недостаточность и неадекватность позитивистской лингвистической методики в применении к такому уникальному феномену, как церковнославянский язык, можно сравнить с неадекватностью чисто геометрического перспективного анализа пространственности иконы.

Церковнославянский язык неслучайно уподоблялся у многих книжников средневековья иконе<sup>6</sup>. Картина мира, которую он создает, есть картина сложно преобразованной, концептуализированной действительности (в сравнении с более «натуралистическими» образами мира в диалектах и даже в литературном языке нового времени). Устойчивые языковые блоки разной величины (от повторения общей схемы в акафистах и кано-

<sup>5</sup> В этой внешней близости родному языку и внутреннем расхождении с ним и заключался риск введения славянской литургии: противники этого нововведения недаром цитировали ап. Павла: «Говорящий на языке, молись о даре истолкования» (I. Кор. 14 : 13 [6]).

<sup>6</sup> Следует сказать об убедительном мнении относительно сравнительно позднего восприятия славянского языка как своего рода иконы. По мнению Г. Шевелева [7], это переосмысление сложилось в кругу Евфимия Тырновского и по сути противоречит замыслу создателей нового языка как «простого языка» для «простой чади». Ярчайшим доказательством демократических намерений Славянских Учителей Г. Шевелев считает тот факт, что они не перенесли в Моравию известное им с детства македонское наречие: такой язык, при всей тогдашней близости славянских наречий, все же воспринимался бы как «не свой» и специфически сакральный. Отказ от моравизмов, болгаризации церковнославянского в Македонии и Болгарии вполне согласовывалась с языковой программой св. Кирилла: приближением языка христианства к «простой чади». Однако уже в царствование Симеона этот замысел забывается, возникает стремление к возможному дистанцированию книжного языка от обывательной местной речи. Предельного развития эта тенденция достигает в языковой программе Патриарха Евфимия (1327–1401). Осуществляется попытка установить внутреннюю и обязательную связь между означающим и означаемым (вплоть до орфографических деталей). «Церковнославянский становится не одним из литургических языков, но своего рода „иконой“ Православного богословия; с этого момента можно говорить об иконизме славянского языкового мышления. Появись в этой ситуации ревностного отталкивания от „народного языка“ новый Константин-Кирилл, он был бы осужден как еретик или безумец».

нах до традиционных формул из нескольких слов и самого ритма синтаксического построения) представляют собой некоторый аналог прописям в иконографии. Понимание смысла слова или оборота в церковнославянском языке — прежде всего «симфоническое» понимание, т. е. пробуждение в памяти как можно более широкого круга его контекстов. В каждом акте такого понимания сознание как бы еще раз радуется связности и целокупности всей смысловой системы — и только через всю систему соотносит каждое отдельное значение с внеязыковой реальностью.

### 3. Церковнославянский и русский в наше время.

Нынешнее положение церковнославянского языка, как это ни покажется парадоксальным, напоминает ранний период русско-славянской диглоссии. На очевидных различиях задерживаться не стоит: интереснее неочевидное сходство.

Церковнославянский язык не воспринимается как совершенно чужой, отдельный язык и не изучается как таковой. Он усваивается вместе с текстами, не подвергающимся анализу и по сути даже не комментируемыми (немногие издания с подстрочными сносками, вышедшие недавно, дела не поправляют; кроме того, в них немало ошибок). Церковнославянский воспринимается через призму русского языка. То, что, исходя из русской компетенции, необъяснимо, «домысливается» или оставляется для себя «священно непонятным».

Из опыта преподавания известно, как даже гуманитарно образованные люди не затрудняются толковать языковые трудности славянских текстов как чисто смысловые, не предполагая иной языковой структуры. Так, например, *сокровище благих* (из молитвы «Царю Небесный») по привычке русского языкового мышления понимается как 'сокровище, драгоценность (для) благих (людей)': невольное переосмысление связано с отсутствием в русском языке калькированного значения прилагательного ср. р. мн. ч. в значении «абстрактного понятия» (как: «воздающие ми злая воз *благая*»). Сокровище благих *θησαυρος τῶν ἀγαθῶν* — собрание, сокровище всего благого, что связано с общим смысловым строем, не предполагающим никаких «благих людей» в этом ряду воззваний. Еще пример: «Имже вся быша» (из «Символа веры») не может быть адекватно понято без представления о Творит. деятеля (т. е. «через Которого все стало быть»), но человек «переобъясняет» это, не обращаясь к грамматике, — и получает что-то вроде «в котором все было». В другом члене Символа: «Глаголавшего пророки», конструкция, включающая незнакомую русскому языку форму Творит. пад. и незнакомое его орудийное значение («через пророков»), порождает разные выходы из затруднения, но равно неверные. Интересно здесь то, что понимание не предполагает опасности неизвестной формы: текст не сигнализирует воспринимающему о возможной ошибке анализа, о непреодолимом в границах собственного языкового кода затруднении. Интуиция неведения отключена: этого трудно ожидать при работе с иноязычным текстом.

Современная ситуация церковнославянского и русского языков обладает еще одной характеристикой ранней диглоссии — отсутствием текстов с параллельным содержанием. Хотя к настоящему времени круг церковнославянских текстов чрезвычайно сужен — до богослужебных и молитвенных (в область чтения на русском языке перешли жития, проповеди, разного рода душеполезная литература, даже Писание, исключая Псалтырь, — я имею в виду домашнее чтение), но перевод этого круга на русский язык и даже частичная русификация здесь очень проблематичны. Относительно этих текстов сохраняется древнее отождествление «духа» и «буквы», которое, как представляется, незаметным, но мощным образом питает и поддерживает и русский литературный язык. С упразднением или полным забвением этого высокого смысловторного пласта русскому

языку грозит сползание в гораздо более плоскую смысловую сферу бытового, местного наречия или интернационализованного жаргона.

Это пособие строится, исходя из русскоязычного восприятия, как описание тех расхождений, где всего вероятнее неправильное понимание церковнославянских текстов. Особо «опасные» места, которые нерефлектирующее восприятие «домыслиет» или «подгоняет под ответ», подсказывает собственный опыт.

Самую большую сложность для понимания церковнославянских текстов представляет не столько морфология и словарь, сколько синтаксис словосочетаний и предложений и семантика грамматических форм (падежей, глагольных времен, местоимений). На этом и будет сосредоточено основное внимание. Каждую грамматическую тему будет сопровождать подбор цитат, заключающих в себе разбираемую трудность.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Алипий* (Гаманович). Грамматика церковнославянского языка. Джордавиль, 1964.
2. *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI–XVII вв.). Мюнхен, 1987.
3. *Birnbaum H.* The Balkan Slavic Component of Medieval Russian Culture.— In: Medieval Russian Culture. Berkely — Los Angeles — London, 1984, p. 16.
4. *Bortnes J.* The function of Word-Weaving in the Structure of Epiphanius «Life of S. Stephen».— In: Medieval Russian Culture. Berkely — Los Angeles — London, 1984, p. 312.
5. *Issatschenko A.* Mythen und Tatsachen über die Entstehung der Russischen Literatursprache. Wien, 1975, S. 7.
6. *Picchio R.* Questione della lingua e Slavia Cirillo-metodiana.— In: Aspects of the Slavic Language Question. V. 1. New Haven, 1984, p. 12.
7. *Shevelov G. V.* Prosta čadb and Prostaja Mova.— Proceedings of International Congress Commemorating the Millenium of Christianity in Rus' — Ukraine.— Harvard Ukrainian Studies. V. XII/XIII, p. 615.



## ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Каждый, кто заинтересуется какими-либо проблемами, связанными с современным церковнославянским (далее — цсл.) языком, будет потрясен отсутствием серьезных филологических описаний и научных изданий цсл. текстов. Если, судя по указателю И. Е. Можяевой [1], в 1945—1974 гг. вышло около 2000 работ по кирилло-мефодиевской проблематике, то исследований по современному цсл. можно пересчитать по пальцам [2—4]. Мы попытаемся уяснить причины неисследованности позднего цсл. и понять, кто и как учил этот язык в последние три столетия.

## I

Традиционно филология обращается к начальному периоду истории цсл. — старославянскому языку, интерес к которому появляется в связи с компаративистской проблематикой. Славянский материал присутствует уже в грамматике Ф. Боппа и первые старославянские грамматики были написаны представителями этого направления. В результате старославянский язык интересует исследователей лишь в той мере, в какой он фиксирует древнейший облик живой славянской речи, что предопределяет и выбор источников — древнейшие рукописи и круг изучаемых явлений — формальное устройство языка. Вне поля зрения остается богатейшая церковная литература более поздних эпох, а также семантика цсл. слова, часто необъяснимая без обращения к греческому и еврейскому тексту. Не найдем мы и работ, касающихся особенностей цсл. языка как языка Церкви.

Ситуация, когда цсл. язык рассматривается «как система или модель, из которой исходили при реконструкции праславянского языка, т. е. при установлении языкового состояния более раннего периода либо при объяснении отдельных фактов исторической фонетики и грамматики конкретных славянских языков» [5, с. 35], определила структуру соответствующих вузовских курсов. Авторы большинства учебников старославянского языка, приступая к анализу текста, забывают, что этот текст кроме грамматики имеет семантику, и в результате изучение старославянского языка сводится к приобретению навыков необходимых для того, чтобы уметь отличать аорист от имперфекта.

Библиографию работ, посвященных старославянскому языку, можно найти в общих указателях литературы по кирилло-мефодиевской проблематике [1; 6]. Имеется также хороший очерк Г. Бирнбаума по истории изучения праславянского языка [7].

Другим моментом, препятствующим адекватному описанию цсл. языка, является подход, согласно которому «различные языки по своей сути являются в действительности различными мировидениями» [8], что предполагает жесткое соотнесение языка и нации, поиск в строе языка особенностей национальной психологии и т. п. При этом цсл. — язык Церкви, а не нации — просто не замечается.

Наднациональность присуща цсл. письменности с самого момента ее возникновения. Цсл. язык сложился на основе солунских говоров для перевода греческих богослужебных книг, а служба на этом языке впервые свершилась в Моравии. Приобретая моравские черты, этот язык переместился в Болгарию, а затем, несколько изменившись, на Русь. На всех этапах своей истории цсл. не отождествлялся с разговорными славянскими языками и воспринимался как язык богослужения и Писания.

Периодически предпринимались попытки отождествить цсл. язык с письменной культурой того или иного славянского народа. П. А. Флоренский предлагал (неясно, насколько всерьез)<sup>1</sup>, закрепить гражданскую кириллицу за государственным языком СССР, в то время как «специфическим русским шрифтом может считаться не гражданский, а церковнославянский, причем для этого следует в РСФСР названия железнодорожных станций писать не только по-русски, но и по-церковнославянски» [10, с. 100]. Таким образом, графическая система цсл. (наднационального) соотносилась с русским (национальным) литературным языком, а графическая система нового времени приобрела наднациональный статус.

Отсутствие соответствующей клеточки в парадигме современной науки приводит к тому, что во многих случаях цсл. язык просто не замечается. Из-за этого, например, оказывается крайне сложным узнать что-либо о степени распространения цсл. грамотности в прошлом веке.

Наиболее авторитетным источником об уровне грамотности в России рубежа веков являются материалы переписи 1897 г. Однако, просмотрев их, мы увидели, что в переписном листе вопрос о языке заменял вопрос о национальной принадлежности информанта [11, № 1, с. 32; № 2, с. 7]. Причем в районах со сложной языковой ситуацией «...в графе о родном языке допустить требование об отметке национальной независимости от родного языка» [12]. При таком подходе цсл. язык, который, повторим, является языком Церкви, а не нации, ускользает от внимания переписчиков. Не попадает он и в подготовленный переписной комиссией список языков империи [13, с. 53–55; 11, № 10].

Из-за отсутствия соответствующей филологической дисциплины цсл. тексты XVIII–XX вв. почти не изучались. Интересы специалистов по древнерусской литературе редко простираются далее XVII в. Историков русского литературного языка цсл. тексты XVII–XIX вв. интересуют в основном в связи с влиянием цсл. на русский литературный язык этих эпох. Более существенным для нас оказываются работы по литургическому богословию, но филологических исследований они заменить не могут. На сегодняшний день нет ни одного комментированного издания литургических текстов XVIII–XIX вв. и необходимость изданий такого рода еще не осознана.

Возникший в последнее время интерес к славянской библейской текстологии мог бы привести к предположению, что библейские тексты интересующего нас периода начнут изучать более пристально. Однако это не так.

<sup>1</sup> Работа «Предполагаемое государственное устройство в будущем» была написана в 1933 г. в тюрьме. Вероятно, следствие предложило Флоренскому систематически изложить свои взгляды [9, с. 95]. Учитывая обстоятельства, при которых была написана эта работа, мы не решаемся утверждать, что она адекватно отражает взгляды П. А. Флоренского.

Дело в том, что начало изучения славянской Библии было связано с необходимостью использовать славянский материал в аппарате издания греческого текста Септуагинты. Появление интереса к славянскому библейскому тексту связано с именем П. де Лагарда [14, с. 4; 15, с. 12–13], а систематическое исследование славянских библейских рукописей было стимулировано подготовкой критического издания Септуагинты, работу над которым возглавил ученик Лагарда А. Ральфс. По его просьбе И. Евсеев начал готовить описание славянских библейских рукописей и в 1915 г. была создана «Комиссия по научному изданию славянской Библии», которая ставила «своей задачей научное издание славянской Библии по лучшим славянским рукописям, при возможно более широком изучении всего рукописного предания» [16]. Программа комиссии в значительной мере определила интересы исследователей славянской Библии, и в центре внимания оказались древнейшие рукописи, а не поздние издания.

Таким образом мы видим, что цсл. тексты синодальной эпохи не стали предметом академических исследований. Весьма немногочисленные работы были обусловлены практическими задачами исправления или пересмотра богослужебных и четких книг. Несмотря на ряд серьезных исследований (достаточно вспомнить Н. Ильминского) язык и текстология славянских текстов XVIII–XX вв. в них остаются практически не изученными.

## II

Говоря о том, как учили цсл. языку, можно выделить две традиции. В основе первого подхода (далее мы будем называть его традиционным) лежит выучивание наизусть корпуса текстов (Букварь, Часослов, Псалтирь) и чтение по складам, т. е. усвоение правил чтения различных последовательностей гласных и согласных букв [17; 18]. «Характер древней педагогики был таков, что нельзя было выучиться читать, не выучив вместе с тем наизусть и всего содержания азбуки, этому особенно способствовало непрерывное повторение задов. Учение происходило обыкновенно вслух и нараспев, как следовало читать во время церковной службы» [19].

При традиционном обучении не предполагается перевод цсл. текста на разговорный язык. Под знанием языка понимается способность воспроизводить текст. Этому типу образования соответствуют буквари XVII–XVIII вв. (см. [20]), основное внимание в которых уделяется орфографии и орфоэпии.

В основе другой традиции, возникшей не ранее XVII в., лежит представление о том, что понимание текста предполагает способность интерпретировать его средствами разговорного языка. В послепетровскую эпоху цсл. язык учили в соответствии с этой традицией, что и отразилось в учебных пособиях по цсл. языку для учащихся гимназий, церковно-приходских школ, народных училищ и т. п. Прежде чем перейти к характеристике этих пособий, позволим себе несколько общих замечаний.

Создание учебника какого-либо языка предполагает наличие научного описания этого языка. Для цсл. учебников это правило не выполняется. Отсутствие серьезных работ по цсл. грамматике ведет к тому, что пособия оказываются чрезвычайно сильно зависимыми друг от друга. Автор каждого нового учебника заимствует свой материал у предшественников. При этом он не имеет достаточно надежного критерия для исправления и уточнения заимствуемого материала. Таким образом, описание грамматической системы цсл. языка заимствуется авторами пособий у предшественников с исправлениями в соответствии с собственным вкусом и начитанностью в цсл. текстах. Отсутствие строгих критериев ведет к тому, что в описаниях периферийных явлений морфологии и синтаксиса в грамматиках обнаруживается разнობой. Это касается, например, окончаний изменяющихся по родам глаголов двойственного числа. Конечный гласный в двойственном числе (независимо от лица) может быть *a* или *ѣ*. Согласно одним грамма-

тикам [21] *a* характеризует мужской и средний род, а гласный *ѣ* — женский. Другие авторы [22, с. 104] предлагают вариант, согласно которому *a* является флексией мужского рода, а *ѣ* — женского и среднего, т. е. средний род двойственного числа совпадает то с мужским, то с женским родом. Даже число и порядок букв алфавита в разных пособиях оказывается различным (см. в следующем номере журнала «Славяноведение» в разделе Орфография предлагаемых уроков п. I, 1).

Не касаясь частных, можно выделить пять основных типов пособий по цсл. языку.

1. Пособия, включающие более или менее полное и последовательное описание системы цсл. языка. Это обычные грамматики классического языка, напоминающие гимназические учебники греческого или латыни [21; 22; 23]. К грамматическому очерку могут быть присоединены хрестоматия и словарь, как это сделано в грамматике А. И. Преображенского [24].

2. Учебники цсл. языка с поурочным изложением материала [25—27]. Грамматические темы распределяются по урокам. Дается большое количество примеров и упражнений. В качестве курьеза укажем на учебник, составленный прот. В. Крыловым [28], в котором приводятся тексты для самостоятельного перевода с русского на цсл.

3. Начальные пособия по цсл. языку, в которых содержится алфавит, минимальные правила чтения и избранные молитвы, часто сопровождаемые комментарием или переводом на русский язык [29—31].

4. Пособия, ориентированные на традиционное обучение и не ставящие задачи помочь понять (в современном значении этого слова) текст. Книжки этого типа являются довольно точным воспроизведением средневековых букварей и содержат большое количество фонетических упражнений, а также склады [32]. Кроме того, к этому типу следует отнести буквари, составленные миссионером и замечательным филологом Н. Ильминским [33], для которого ориентация на древние образцы была частью программы архаизации цсл. языка [17, с. 49—50].

5. Популярное пособия, содержащие уроки цсл. и русской грамматики, как правило представляющие собой механическое соединение пособий по этим языкам, хотя имеются исключения, например [34]. В более серьезных гимназических учебниках цсл. материал выступает в роли исторического комментария к явлениям русского языка. Одна из лучших грамматик этого типа принадлежит Ф. Буслаеву [35].

### III

Государственные и частные учебные заведения не были единственным источником цсл. грамотности. Продолжало также существовать традиционное обучение цсл. по Часослову и Псалтири. Определить, насколько широко оно было распространено, оказывается достаточно сложно, ибо для образованного человека XIX в. цсл. грамотность не входила в сферу культуры. Ее существование не замечалось современниками, анализирующими культуру России, но в качестве бытовой детали фиксировалось этнографами и писателями.

Огромный этнографический материал, собранный в соответствии с различными программами в середине XIX в., обобщен М. М. Громыко, которая отмечает, что одной из обязанностей черниц или келейниц было обучение детей грамоте. «Келейницы, — пишет М. М. Громыко, — были грамотными, и многие из них учили детей по Часослову и Псалтири читать по церковнославянски и писать церковным уставом, а также обучали порядку богослужения. Иногда общины строили специальные школы для этого обучения. Дети называли келейниц здесь мастерицами, и это название бытовало и у взрослых» [36].



В пользу того, что традиционное обучение цсл. языку было распространено широко, говорят многочисленные упоминания об обучении у черниц в произведениях художественной литературы. Причем традиционное обучение рассматривается не как достойный упоминания факт культуры, а как бытовая, этнографическая подробность.

Поиск и анализ свидетельств, касающихся распространения цсл. грамотности, дело будущего. Для того, чтобы продемонстрировать плодотворность таких поисков, рассмотрим фрагменты некоторых произведений П. И. Мельникова-Печерского и Н. С. Лескова.

П. И. Мельников-Печерский невысоко оценивает традиционное образование, и в его романах мы находим немало иронических характеристик обучения у мастериц. По Мельникову-Печерскому, традиционное обучение выглядит следующим образом.

Первой ученой книгой был Букварь. Видимо, начинать занятия с детьми могли родители, а продолжали мастерицы [37, с. 56–57]. Грамоте учили мальчиков и, реже, девочек. «Божественным книгам ее обучим, и гражданской грамоте, и писать — и всему, что следует хорошей девице» [37, с. 81], однако «из женщин редкие даже грамоте знали» [37, с. 85]. Любопытно, что в скитах девиц могли учить и гражданской грамоте, хотя отношение к ней в старообрядческой среде было весьма настроженным, так как гражданская азбука ассоциировалась с новой обмирщенной культурой. «...долбит перед ним Сережа: „Аз, ангел, ангельский, архангел, архангельский“, а утром тихонько от матери бежит в заводское училище, куда родители его не пускали, потому что кержачели... и думали, что училище то бусурманское. Там же учат бритоусы, да еще по гражданской грамоте, а гражданская грамота, святыми отцами неблагославленная, пошла в мир от антихриста. Опять же в заводском училище цифирной мудрости учат, а цифирь — наука богоотводная» [38, с. 298].

Оплата обучения была подчинена традиционным правилам. По свидетельству П. И. Мельникова-Печерского мастерица «получала за труды плату съестными припасами, кой-чем из одежды, деньгами редко. Брала за выучку с кого погодно, с кого как; за азбуку плата, за часовник другая, за псалтирь — третья» [37, с. 54]. «Кроме условной платы за учение, мастерица при каждой перемене учеником книги, то есть при начале часослова и при начале псалтыря, получает горшок сваренной на молоке каши, платок, в котором ученик несет этот горшок, и полтину деньгами. Кашу съедают ученики, платок и деньги постулают в карман мастерицы. Старинный обычай, упоминаемый еще в XV в., сохраняется доселе у раскольников. По свидетельству Н. С. Лескова, горшок каши служил платой за обучение не только у старообрядцев [39, с. 30]. Любопытно, что вносить эту плату за ученика могли только родители. Мастерица могла отказаться принять деньги за обучение от благодотворителя. «От сторонних книжных дач не положено брать. Опять же надо ведь мальчкенке-то по улице кашу в плате нести — все бы видели да знали, что за новую книгу садится» [37, с. 59]. До той поры, пока родители не внесут плату, ребенок не начнет новой книги, а будет «твердить зады» [37, с. 50]. Свидетельство П. И. Мельникова-Печерского о том, что у мастериц учились дети неимущих родителей, очень важно для нас, так как лишний раз доказывает независимость традиционного цсл. образования от материального положения.

Информация о традиционном образовании, которую удается извлечь из повести Н. С. Лескова «Однодум», ценна тем, что персонажи «Однодума» принадлежат к синодальной церкви. В тексте повести это специально оговаривается [39, с. 19; 30]. Близость описаний процесса традиционного обучения у Н. С. Лескова и П. И. Мельникова-Печерского свидетельствует о распространении цсл. грамотности как в старообрядческой среде, так и среди приверженцев синодальной церкви.

Говоря об образовании своего героя, Н. С. Лесков пишет, что мать «отдала (его) в науку „мастерице“, мастерица научила Алексашку (известно, что прообразом А. Макарова был А. А. Рыжов — солигаличский кварталный с 1800 г. Т. е. четко определены время и место — Солигалич, конец XVIII — начало XIX в.) тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподавал ему дяк... Дяк, „отучив“ Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдвоем сын пошел в люди» [39, с. 6]. Макаров — человек, «поврежденный от Библии», т. е. постоянно читающий Св. Писание. Для чтения Библии, а особенно Ветхого Завета, требуется основательное знание цсл. языка. Макаров читает по-церковнославянски [39, с. 8]. Следовательно, он знает этот язык хорошо.

О широком распространении цсл. грамотности среди жителей уездных городов свидетельствует Записка, которую И. В. Киреевский отправил в

1854 г. в Министерство Народного просвещения<sup>2</sup>. Содержание Записки сводится к тому, что основной причиной непопулярности уездных училищ является низкий уровень преподавания цсл. языка. Знание этого языка родители считали для своих детей необходимым, и поэтому училищу предпочитали традиционное обучение. Записка И. В. Киреевского свидетельствует о том, что знание цсл. языка в уездном городе середины XIX в. было нормой.

Очень характерным в этой связи кажется указ Синода (1740), согласно которому начальное образование будущие семинаристы должны были получать дома. Не получившие его в училище не допускались [40, с. 348].

#### IV

Сосуществование двух педагогических традиций предполагает попытку синтеза. Из опытов подобного рода наиболее интересные принадлежат С. А. Рачинскому.

Основная идея Рачинского — совмещение современных научных и педагогических идей с традиционной школой. Огромное место в программе основанной С. А. Рачинским школы занимал цсл. язык. Обучение детей грамоте начиналось не с русского языка, а с цсл., для которого орфография практически целиком совпадает с орфозией, т. е. на цсл. можно писать, ориентируясь на литургическое произношение. «Совпадение славянского устава с печатным начертанием букв — пишет С. А. Рачинский, — тут делает из письма действительно подспорье чтению. Само чтение на церковнославянском языке несравненно легче, чем на русском, ибо произношение вполне соответствует правописанию. Писать уставом (как пишут наши грамотей-самоучки) несравненно легче, чем писать курсивом или рисовать буквы гражданской печати» [41, с. 57]. При таком методе учение вызывает больший интерес, ибо «ребенок, приобретающий в несколько дней способность писать: *Господи, помилуй* и *Боже, милостив буди мне грешному*, заинтересовывается делом значительно живей, чем если вы заставите его писать: *оса, усы, Маша, каша*» [41, с. 57]. По свидетельству С. А. Рачинского, переход от церковной азбуки к гражданской совершается с поразительной легкостью и быстротой.

Предпринятый С. А. Рачинским опыт синтеза традиционного цсл. образования с современными научными идеями и методиками кажется очень существенным. Думается, что современный учебник цсл. должен сочетать корректное описание формальной структуры этого языка с более широким филологическим и богословским комментированием богослужебных текстов. Поиск путей для объединения двух подходов к преподаванию цсл. языка и осознание специфики современного учебника этого языка — основная задача авторов предлагаемых материалов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Можаева И. Е.* Библиография работ по кирилло-мефодиевской проблематике. 1941—1974. М., 1980.
2. *Mathiesen R.* The Inflectional Morphology of the Sinodal Church Slavonic Verb. Columbia, 1972.
3. *Picchio R.* Shurch Slavonic.— The Slavic Literary languages: Formation and Development. New Haven, 1980.
4. *Бобрик М. Л.* Книжная справа первой половины XVIII в. и проблемы нормализации русского литературного языка. М., 1988.
5. *Толстой Н. И.* История и структура славянских литературных языков. М., 1988.
6. *Ильинский Г. А.* Опыт систематической кирилло-мефодиевской библиографии. София, 1934.

<sup>2</sup> С 1839 г. И. В. Киреевский был почетным попечителем Бельского уездного училища.

7. *Бирнбаум Х.* Праославянский язык: Достижения и проблемы его реконструкции. М., 1987.
8. *Гумбольдт В. фон.* Язык и философия культуры. М., 1985, с. 370.
9. *Игумен Андроник (Трубачев).* О судьбе России.— Литературная учеба, 1991, № 3.
10. *Флоренский П. А.* Предполагаемое государственное устройство России в будущем.— Литературная учеба, 1991, № 3.
11. Пособия при разработке первой всеобщей переписи населения. № 1–16. СПб., 1897.
12. Первая Всеобщая перепись... Положения. Вып. 2. Выписка из Журналов Комитета министров от 25.6.1896 № 1814, § 24.
13. Пособия при разработке первой Всеобщей переписи населения. Изд. 2. СПб., 1899.
14. *Евсеев И. Е.* Рукописное предание славянской Библии.— Христианское чтение. 1911. (Отдельный оттиск).
15. *Алексеев А. А.* О греческой основе славянских библейских переводов.— Старо-българистика, 1984, № 1.
16. Отчет о деятельности Комиссии по научному изданию славянской Библии за 1915 г. Пг., 1916.
17. *Сове Б. И.* Проблема исправления богослужебных книг в России в XIX–XX веках.— Богословские труды, сб. 5. М., 1970.
18. *Успенский Б. А.* Старинная система чтения по складам.— Вопросы языковедения, 1970, № 5; *Успенский Б. А.* История русского литературного языка. Мюнхен, 1987.
19. *Забелин И. Е.* Домашний быт русских царей.— Отечественные записки, 1854, т. 97, № 12, с. 97.
20. *Cleminson R.* East Slavonic Primers to 1700.— Australian Slavonic and East European Studies, 1988, V. 1, № 2.
21. *Классовский В. А.* Краткая грамматика славяно-церковного языка. СПб., 1857, с. 58.
22. *Алипий (Гаманович).* Грамматика церковнославянского языка. Джорданвилль, 1964.
23. *Миропольский С. И.* Краткая грамматика церковнославянского языка нового периода. СПб., 1904.
24. *Преображенский А. И.* Краткая грамматика нового церковнославянского языка. М.— Пг., 1916.
25. *Соколов А. Ф.* Практическая грамматика церковнославянского языка нового периода. М., 1916.
26. *Козьмин К.* Церковнославянская хрестоматия. М., 1903.
27. *Павлов А.* Практический курс краткой грамматики церковнославянского языка нового периода. Пг., 1915.
28. *Крылов В.* Сокращенная практическая славянская грамматика. М., 1916.
29. *Диакон Н. Успенский.* Пособие к изучению церковнославянского языка в начальных школах. М., 1900.
30. *Соколов А.* Первые уроки церковнославянского языка. СПб., 1904.
31. *Луппов П.* Азбука церковнославянского языка и первая после азбуки книга для церковнославянского чтения. СПб., 1904.
32. Азбука для начального учения. Нижний Новгород, б/г.
33. *Ильминский Н.* Церковнославянская азбука. СПб., 1900.
34. *Лубенец Т.* Русско-славянский букварь. Киев, 1887.
35. *Буслаев Ф.* Учебник русской грамматики, сближенной с церковнославянской. М., 1869.
36. *Громыко М. М.* Традиционные нормы поведения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986, с. 104.
37. *Мельников П. И. (А. Печерский).* На горах. Кн. I. М., 1956.
38. *Мельников П. И. (А. Печерский).* В лесах. Кн. I. М., 1955.
39. *Лесков Н. С.* Собрание сочинений в 12 томах. Т. 2. М., 1989.
40. *Знаменский П.* Духовные школы в России до реформы 1808 г. Казань, 1881.
41. *Рачинский С. А.* Сельская школа. М., 1991.



# СООБЩЕНИЯ

АНИКИН А. Е.

## О СЛАВЯНСКИХ НАЗВАНИЯХ ПТИЦ

(болг. диал. *догуличе*)

Болг. диал. *догуличе* 'щегол' признается этимологически неясным [1, с. 406; 2, с. 313]. Между тем, объяснение этого слова представляется достаточно очевидным. Оно сопоставимо с лит. *dagilis* 'щегол', лтш. *dadzis* 'то же' (обычно в деминутивной форме *dadzītis*), *dadzilis* 'чижик' и, далее, лит. *dagilis* 'бодяк', *dāgė*, *dagūs* 'чертополох', лтш. *dadzis* 'репейник', лит. *dagus* 'колкий, жгучий, едкий', *dėgti* 'гореть', лтш. *degt* 'то же'

и др. < б.-слав. \**deg-* 'жечь, гореть' < и.-е. \**dheg<sup>u</sup>h-* 'то же' [3, S. 429; 4, S. 85–86]. Конечное *-иче* болгарского слова — уменьшительно-ласкательный суффикс. Можно предположить праслав. диал. \**dog-ul-* или \**dog-ul'-*, сходное — хотя и не идентичное — с лит. *dag-il-is*, лтш. *dadz-il-is* по структуре (наличие *l*-овых суффиксов, ср. [5, s. 110–113]).

Обнаруживаемая балтийскими словами соотношенность щегла с колючими растениями — бодяком, чертополохом, репейником (семенами которых эта птица питается) — отражена во многих его названиях, ср. еще, например, лат. *carduēlis* 'щегол, щегленок' (: *carduus* 'чертополох') и соответствующую романскую лексику — франц. *chardonneret*, итал. *cardellino*, исп. *cardelina*; греч. *ἀκανθίς* 'щегол' (*ἄκανθα* 'шиш, колючка'); нем. *Distelfink*, *Distelvogel* 'щегол' (: *Distel* 'чертополох'). Известны факты такого рода и славянским языкам, ср. с-хорв. *чешљуга*, *чешљуѓар*, *чешљуѓарка* 'щегол' (*чешљуга* 'растение ворсянка, разновидность чертополоха', словен. *češljuga* 'род чертополоха'); словен. *tŕnjevka* 'чижик' (: *tŕn* 'шиш, колючка' [6, S. 693], ср. еще макед. *грнарче*, упоминаемое в [7, s. 576] как синоним *штиглец*, *штиглицу* 'щегол', хотя позиция *грнарче* в [7] отсутствует).

Далее уместно затронуть основные славянские обозначения щегла, представленные болг. *щиглец* (*щиглицу*, *стиглицу*), макед. *штиглец*, *штиглицу*, а также с-хорв. *štiglic*, словен. *ščęgljес*, чеш. *stehlík*, словц. *stehlík*, в.-луж. *šćihlica*, н.-луж. *šćigelc*, польск. *szczygieł*, рус. *щегол*,

укр. *щѣголь*, *щѣголь*, блр. *шчыгѣл*. Эти названия предполагают праслав. \*ščegъl-/ \*ščigъl- 'щегол', производное с суффиксом -ъl- ([8, p. 556]; к отношению -e-: -i- ср. [9, p. 106]) от корня ономатопеического характера, отразившегося в словен. ščegljáti 'щебетать', чеш. štěhotati 'то же', рус. диал. *скогблить*, *скоготать* 'визжать, скулить' (о животных) и, далее, *щекотать* 'щекотать, щебетать, болтать' [10, с. 85; 11, с. 498—500]. Согласно другому, но сходному решению, название щегла сравнивается со слав. \*čizъ 'чиж' < \*či-g-ъ или \*čigъ, ср. укр. диал. *чиготати* 'издавать звуки «чиги» (например, о чайке)', с.-хорв. čiganje 'чирикание воробья' и др. [12, s. 545; 13, s. 218—219]. На облик названий щегла, несомненно, влияло и то обстоятельство, что щебетание этой птицы напоминает звуки «тиглит», «стиглит», «штиглит» [14, s. 414; 15, s. 92; 16, S. 1420]. При всей естественности ономатопеических объяснений слав. \*ščegъl- все же имеются сомнения относительно того, что они исчерпывают все возможности этимологизации.

Согласно В. Махеку, праславянское название щегла, отразившееся в чеш. *stehlík* и др. и реконструируемое им в виде \*stegъlъ (что допустимо как вариант формы на \*šč-), вошло в звукоизобразительную сферу лишь вторично, будучи родственно лит. *dagilis*, лтш. *dadzis*, *dadzītis* [17, s. 576; 18, s. 342]. Сходным образом интерпретировал рус. *щегла* и др. В. Н. Топоров, который, в отличие от В. Махека (и без учета его версии), ориентировался на этимологическую перспективу соответствующих балтийских слов, заключающуюся в их родстве с и.-е. \*dheg<sup>u</sup>h- 'гореть, жечь' [19, с. 287—288].

Слав. рефлексy \*dheg<sup>u</sup>h-, как правило, претерпевали ассимиляцию \*deg- > \*geg- > \*žeg- (рус. *жечь* и др.), но иногда сохраняли исходный вид корня, как, например, в случае с \*degъtъ. Таким образом, мысль В. Н. Топорова о происхождении рус. *щегла* из \*žegъl- (т. е., по-видимому, \*žegъl-) < б.-слав. \*deg- 'гореть, жечь', как будто, согласуется с объяснением болг. диал. *догуличе* < \*dogul<sup>(1)</sup>- < \*deg-, с сохранением \*d-. Гипотетическое \*žegъl- 'щегол', мотивировавшееся, как и в балтийском, представлениями о колючем растении и/или «опаленности» щегла [19, с. 288], в дальнейшем могло подвергнуться ономатопеическому переосмыслению («подновлению» [20, с. 200]), во-первых, в связи с фактами типа словен. *žegljáti* 'щебетать, чирикать; щекотать' и, во-вторых, типа упомянутых укр. диал. *чиготати*, словен. *ščegljáti*, чеш. *štěhotati*. Исходное \*žegъl- в итоге оказалось вытеснено вариантом на \*šč-, а затем и \*st- (последний поддерживался сходством с издаваемыми щеглом звуками). Нечто подобное имело место в немецком языке, где славизм *Stieglitz* 'щегол' с его явными ономатопеическими ассоциациями заметно потеснил слово *Distelfink*, ср. др.-в.-нем. *distilvinko* [21, S. 2828]; о славянском происхождении нем. *Stieglitz* и ряда близких германских фактов см. еще [22, S. 765; 23, S. 1167].

Гипотетичность сказанного о слав. \*ščegъl-/ \*ščigъl- во всяком случае, не уменьшает достаточной вероятности того, что болг. диал. *догуличе* дает еще один пример балто-славянской изолексы наподобие болг. бърна 'губа': лит. *burgà* 'рот'.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Български етимологичен речник. Съставили Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, И. Заковар, Ст. Илчев и др. Т. I. София, 1971.
2. Геров Н. Речник на български език. Фототипно изд. ч. 1. София, 1975.
3. *Mühlenbach K.* Lettisch-deutsches Wörterbuch. Redigiert, ergänzt und fortgesetzt von J. Endzelin, Bd. I. Riga, 1923.

4. *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch, Bd. I, Heidelberg – Göttingen, 1962.
5. *Stawski F.* Zarys słownictwa prasłowiańskiego. – Słownik prasłowiański, t. I. Wrocław etc. 1974.
6. *Pleteršnik M.* Slovensko-nemški slovar, d. II. Ljubljana, 1894.
7. *Конеску Б.* Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, III. Скопје, 1966.
8. *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves, t. IV. Paris, 1974.
9. *Shevelov G. Y.* A Prehistory of Slavic. The Historical Phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964.
10. *Якобсон Р.* Ущекоталъ скача // *Linua viget. Commentationes slavicae in honorem V. Kiparskij.* Helsinki, 1964.
11. *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Пер. с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева, 2-е изд. Т. IV. М., 1987.
12. *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.
13. *Słownik prasłowiański, t. II.* Wrocław etc., 1976.
14. *Skok P.* Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. III. Zagreb, 1973.
15. *Strutyński J.* Polskie nazwy ptaków krajowych. Wrocław etc., 1972.
16. *Schuster-Sewc H.* Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und nieder-sorbischen Sprache, Lief. 15. Bautzen, 1985.
17. *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého, 2 vyd. Praha, 1968.
18. *Základní všeslovanská slovní zásoba.* Praha, 1981.
19. *Топоров В. Н.* Прусский язык. Словарь. А–Д. М., 1975.
20. *Булазовський Л. А.* Выбрані праці. Т. III. Київ, 1978.
21. *Grimm J. und Grimm W.* Deutsches Wörterbuch, Bd. 10. Leipzig, 1971.
22. *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 15 neubearb. Aufl. von A. Götz. Berlin, 1951.
23. *Falk H. und Torp A.* Norwegisch-Dänisches etymologisches Wörterbuch, teil II. 2 Aufl. Heidelberg, 1960.



КИШКИН Л. С.

## М. И. ГОРЛЕНКО-ДОЛИНА — ПРОПАГАНДИСТ РУССКОЙ МУЗЫКИ В ЧЕХИИ И ЧЕШСКОЙ В РОССИИ

(забытая страница истории русско-чешских  
культурных связей)

Имя солистки Мариинского оперного театра и эстрадной певицы Марии Ивановны Горленко-Долиной, урожденной Саюшкиной, сейчас мало кому известно. А между тем в свое время эта певица имела большой успех, ее хорошо знали и высоко ценили не только в России, но и за границей, особенно в Чехии, где она выступала много раз. Она родилась 7 февраля 1869 г. в одной из деревень Нижегородской губернии в семье армейского капитана И. И. Саюшкина. Детские годы Мария Ивановна провела в Орске и Оренбурге. Она была еще девочкой, когда умер отец, оставив семье маленькую (22 рубля) пенсию. Вскоре семья переехала в Царское село, где будущая оперная певица в 15 лет окончила гимназию, уже там обнаружив склонность к пению. С 1885 г. Мария Ивановна жила в Петербурге, посещала там музыкальные курсы по классу пения. В 1886 г. Э. Ф. Направник пригласил ее на пробу в Мариинский театр, где она и дебютировала в опере «Жизнь за царя», исполнив роль Вани. Как солистка оперы Саюшкина взяла театральную (более благозвучную) фамилию Долина. В Императорской опере М. И. Долина пела 18 лет (1886—1904), исполнив там партии Леля в «Снегурочке», Зибеля в «Фаусте», Ольги в «Евгении Онегине», Кончаковны в «Князе Игоре», Ангела в «Демоне», княгини в «Русалке» и др. Ее голос (контральто) звучал не только в опере, но часто и на концертах. В 1892—1897 гг. в летние месяцы она совершенствовала свое вокальное мастерство в Париже. Летом 1894 г. певица вышла замуж за ротмистра, впоследствии полковника, И. В. Горленко, который разделял ее увлечение музыкой.

Оставив в 1904 г. оперный театр, М. И. Долина целиком посвятила себя концертной деятельности, популяризации русской и славянской музыки. В 1907—1909 гг. она организует серию вечеров русской песни, в 1908—1909 гг. становится инициатором трех больших концертов славянской музыки в России. На ее сольные выступления, проходившие на многих русских и зарубежных сценах, широко откликнулась пресса.

---

Кишкин Лев Сергеевич — д-р историч. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения и балканистики РАН.



1. М. И. Долина в роли Княгини в опере «Русалка»

К 1912 г. певицей было дано 823 концерта в 180 городах России и 23 за ее пределами. К числу последних относятся Прага, Оломоуц, Пршеров, Хрудим, Пльзень, Брно, Острава, Писек, Табор, Будейовице, Иглава, Яромерж, Пардубице, Простеев, Мезиржчи. В 1906 г. исполнилось двадцать лет артистической певческой деятельности М. И. Долиной, которое торжественно отмечалось в начале 1908 г. А в 1911 г. в феврале, ее поздравляли по случаю двадцатипятилетия служения искусству музыки и пения.

М. И. Долина скончалась в Париже 2 декабря 1919 г. на пятьдесят первом году жизни. Ее культурный облик и место в музыкальной жизни своего времени в какой-то мере дорисовывает круг ее знакомых, к числу которых принадлежали: Ф. И. Шаляпин, Э. Золя, Р. Штраус, Ц. А. Кюи, А. К. Глазунов, Л. Н. Толстой, Н. А. Римский-Корсаков, Ш. К. Сен-Санс, Ж. Массне, М. М. Ипполитов-Иванов, сестра М. И. Глинки Людмила Ивановна, известные русские оперные певцы Н. Н. Фигнер, Д. А. Смирнов, чешский общественный деятель Ф. Ригер и многие другие. Значение международной музыкально-просветительской деятельности М. И. Горленко-Долиной, стремившейся к сближению людей посредством искусства, не становится меньше от того, что о ней забыли.

Чехия и Моравия заняли в жизни М. И. Долиной особое место, хотя она концертировала и в ряде других стран. Первые контакты русской певицы с чехами относятся к 1899 г., когда во время пушкинских торжеств она солировала в посвященной юбилею поэта кантате Глазунова. Кантата исполнялась в Городской думе на приеме в честь иностранных гостей. Там М. И. Долина и познакомилась с директором пражского Национального театра Франтишекком Адольфом Шубертом. Выразив актрисе свое восхищение, он пригласил ее в Прагу выступить на оперной сцене.



Предложение было принято. В 1900 г. с группой русских оперных певцов (М. М. Чупрыников, М. Я. Будкевич, А. В. Смирнов и К. Т. Серебряков), несмотря на очень скромные условия (оплачивались только дорога и пребывание), М. И. Долина отправилась в Прагу, где с 22 мая по 7 июня они вместе с чешскими коллегами выступили в операх «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин» (в последней два раза). «Отношения чехов к нам,—вспоминала об этой поездке М. И. Долина,— были трогательно радушны и при этом лишены всякой лести и громких фраз. Чувствовалась серьезность в их симпатиях к нам, к русской музыке, к нашему исполнению; эти отношения не казались следствием „моды“ или какого-либо пристрастия». Вот еще один отрывок из воспоминаний певицы о выступлениях в Праге в 1900 г.: «Русские оперы были разучены и поставлены прекрасно; чешские артисты превосходно исполняли свои партии, например, в „Руслане“ превосходным Финном был Б. Птак, отличной Нанной — г. Оливова, Фарлаф (г. Полак) не оставял желать ничего лучшего. Эта опера прошла с громадным успехом для нас солистов. Были большие овации, подносили цветы, пальмовые ветви с лестными надписями...

„Евгений Онегин“ прошел еще с бóльшим успехом, и ясно было, что эту оперу очень любят — она постоянно в их репертуаре. Так как наши роли с г. Серебряковым (Ольги и Гремина) слишком незначительны в этой опере, то мы решили немножко оживить их, спев по-чешски, что, конечно, вызвало общий восторг.

Наконец последняя гастроль наша состоялась в „Жизни за царя“. Дирижировал молодой и талантливый капельмейстер Челябинский... Мы все были как-то особенно торжественно настроены в этом спектакле, как-бы всенародно „исповедовали“ родную оперу... И в зале настроение было приподнятое: взрывы аплодисментов раздавались чуть ли не после каждого номера (а это совсем не принято в Праге), публика была в восхищении, нас вызывали без счету...».

Во время пребывания в Праге русским артистам была предоставлена возможность побывать на постановках едва ли не всех опер Дворжака и Сметаны. Став поклонницей чешской музыки, М. И. Долина по возвращении домой организовала два посвященных ей больших концерта в Петербурге и Москве (январь, 1901 г.). В них приняла участие известные солисты пражской оперы Ружена Матурова и Богумил Птак, пианист Алоиз Иранек, знаменитый чешский квартет (К. Гофман, Г. Сук, О. Недбал, Г. Виган). Оперные оркестры Петербурга и Москвы (дирижер Оскар Недбал) исполняли ряд произведений Б. Сметаны, А. Дворжака, З. Фибиха, Й. Сука. Сама устроительница концертов исполняла балладу К. Коваржовича «В объятиях любви» и колыбельную песню Вендулки из оперы «Поцелуй» Б. Сметаны. Оба концерта были восторженно встречены публикой и критикой. Полученный сбор пошел на благотворительные цели.

В 1902 г. М. И. Долина выступала с концертами русской музыки в Париже, Константинополе, Софии, Белграде, Бухаресте и многих городах Чехии и Моравии. На этот раз в гастролях ее сопровождали профессор Петербургской консерватории скрипач-виртуоз Л. С. Ауэр и пианист А. М. Миклашевский. В Чешских землях М. И. Долиной аккомпанировали М. К. Недбалова (сестра О. Недбала) и Н. В. Вельяшева. Ее многочисленные концерты начались во второй половине марта в Оломоуце и завершились в конце апреля в Острове. В общей сложности она выступила тогда в семи чешских и моравских городах (кроме упомянутых — это Пршеров, Хрудим, Пльзень, Прага, Брно). В Хрудиме в концерте М. И. Долиной принимала участие юная скрипачка Мария Геритесова, дочь известного чешского писателя. В Пльзене устроителем



2. М. И. Горленко-Долina во время заграничных гастрольных концертов, 1900-е годы

Концертов русской певицы был писатель К. Кластерман. В этом городе на нее произвело сильное впечатление выступление мужского хора им. Б. Сметаны, прекрасно исполнившего по-русски песни «Во поле березонька стояла» и «Воле речки, воле мосту». В Остраве в честь гостя был исполнен чешский гимн «Где мой дом». Главным местом в гастрольной поездке принадлежало Праге. Вот как М. И. Долina вспоминает о своем выступлении там 27 апреля 1902 г. в зале Рудольфинум: «Зал отменный, превосходный, только темноватый и акустика какая-то странная. Я немного волновалась. После 1-го выхода и исполнения сцены из „Бахчисарайского фонтана“ А. Аревского, вызывали пять раз и буквально засыпали букетами и огромными пальмовыми ветвями. Успех был большой, я много биссировала». К сожалению, полное представление о гастрольном репертуаре М. И. Долной составить не удалось. Однако по ее беглым упоминаниям, кроме упомянутой сцены, это были 3-я песня Деля из «Снегурочки», песня Любаша из «Царской невесты», ария Вани из оперы «Жизнь за царя», песня «Душная девица» Даргомыжского,



3. Адрес, преднесенный М. И. Горленко-Долиной пражанами в 1903 г.

а также русские романсы и песни. Кроме того, певица не раз исполняла по-чешки «Колыбельную песню» из оперы «Щелудуй» Сметаны.

В 1903 г. М. И. Долина еще раз концертствовала в городах Чехии и Моравии по маршруту Прага, Пльзень, Писек, Табор, Будеёвице, Иглава, Прага, Яромерж, Нардубице, Прага, Хрудим, Оломоуц, Брно, Простеёв, Мезиржичи, Пршеров. Гастроли проходили, как и в предыдущий раз, с конца марта до последней недели апреля. В этих гастролях вместе с М. И. Долиной выступала известная оперная певица М. А. Михайлова, аккомпанировала на их концертах М. К. Недбалова. Русскую певицу в Праге, где первый концерт состоялся в зале Виноградской ратуши, и в других городах встречали как старую знакомую, выражая восхищение



4. М. И. Горленко-Долина, 1909 г.

ее голосом. В Пльзене она присутствовала на выступлении хора «Глагол», исполнявшего по-русски отрывки из оперы «Жизнь за царя». Ноты этой оперы «Глаголу» были присланы из Петербурга М. И. Долиной.

Особенно торжественной была встреча русских певиц в Писеке — их приветствовал едва ли не весь город, где их концерт, как и в других городах, имел шумный успех. Второй пражский концерт М. И. Долиной в М. А. Михайловой состоялся 7 апреля в Рудольфинуме. В нем принял участие чешский квартет, М. И. Долина исполняла произведения Глинки, Бородина, Гречанинова, Калининкова, Мусоргского, Иванова, Соловьева, а также Мартини и Дворжака. Горячо приняла публика ее дуэты с М. А. Михайловой. Во время пребывания в Праге М. И. Долина познакомилась с чешским писателем Й. Голечеком. Ее вторичная концертная

поездка позволила чехам еще больше, полнее и глубже познакомиться с русской музыкой.

И снова, как и после первой поездки в Чехию, отвечая на симпатии и внимание своих чешских коллег, на их живой неподдельный интерес к русской музыке, М. И. Долина проявила взаимность, пригласив оркестр Чешской филармонии в Россию. В летний сезон 1904 г. он принял участие в 143 традиционно проводившихся в Павловске концертах, организацией которых она сама и руководила.

Связи русской певицы с Чехией сказанным не исчерпываются. Они имели продолжение. Об этом свидетельствуют направленные ей приветствия по случаю 20-летия и 25-летия артистической деятельности. В связи с этими юбилеями М. И. Долина получила поздравления от Чешской филармонии, от пражских музыкантов, от Клуба молодых музыкантов из Праги, от русского кружка в Праге, от «Славянской беседы», от Женского певческого общества в Простееве, от Городской думы г. Пршерова и т. д. Вот только два из них, относящихся к 1908 г.: «Примите, великая артистка, в день Вашего юбилея наилучшие и сердечные пожелания от глубоко благодарных, безгранично признательных членов Чешской филармонии»; «Кружок молодых чешских композиторов и музыкантов исполнителей... считает милым долгом принести Вам... искреннюю благодарность за Ваше внимание к чешской музыке., которым Вы обессмертили свое имя во взаимных сношениях чешского музыкального мира с русским». В поздравительном письме Русского кружка (1908) отмечаются заслуги М. И. Долиной в распространении русской музыки среди славян и чешской музыки в России. В 1911 г. М. И. Долина получила более 60 поздравлений, среди них адрес и венок от «Славянской беседы» и приветствия от двадцати чешских и моравских городов. Венок был сопровожден надписью «Любимице чешского народа».

Таковы некоторые сведения о вкладе М. И. Горленко-Долиной в историю русско-чешского музыкального сближения, которые удалось обнаружить. Ряд дополнительных сведений о ней содержит ставшая теперь большой редкостью книга [1], откуда и взяты приведенные выше отрывки ее воспоминаний. В заключение заметим, что увлеченная деятельность М. И. Долиной по пропаганде русской и чешской музыки, о которой, к сожалению, удалось узнать далеко не все, имела существенное значение для развития чешско-русских культурных связей на рубеже XIX и XX вв., и в этом отношении она заслуживает внимания тех, кто занимается их изучением.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Каменев И. А.* Солистка Его Величества Мария Ивановна Горленко-Долина. СПб., 1912.



ГРИМСТАД КНУТ

## СЛАВИСТИКА МЕЖДУ ФИОРДАМИ

Норвегия — или «Норгэ», или «Норэг» — означает «путь на север». Среди островов, о скалы которых разбиваются волны Атлантического океана, люди на протяжении тысячелетий прокладывали путь в Северный ледовитый океан, чтобы ловить там рыбу и охотиться на полярного зверя. Нам известно, что в ходе исторического развития норвежцы стали превосходными мореплавателями. Известно также, на этот раз из общей истории Норвегии и Древней Руси, что король-викинг Гаральд Строгий (1046—1066) жил некоторое время у своего тестя — Ярослава Мудрого. Зная этот исторический факт, я задаюсь вопросом: овладел ли король Гаральд русским языком? Если да — сильно ли он окал?

Норвежская славистика и труды норвежских славистов — главная тема этой статьи — остается во многом не известной широкому кругу славистов. Наблюдая историческое развитие норвежской славистики, которую безусловно можно назвать молодой и недостаточно специализированной, надо подчеркнуть, что, несмотря на определенные сложности, достижения норвежских славистов можно назвать значительными и многосторонними.

Цель статьи скромная: представить несколько основных моментов из истории норвежской славистики, имена наших крупных славистов, отметить их достижения, кратко описать современное положение норвежской славистики не только в системе традиционной науки, но и ее роль в более широких, междисциплинарных восточноевропейских исследованиях.

Если при викинггах норвежские культурные связи существовали не только с Западом, но и с Востоком, то в эпоху Средневековья происходила ярко выраженная переориентация — доминирует западное направление; позднее культурные устремления Норвегии более ориентируются на юг, к Дании, главной стране унии, и дальше — к Германии. Такой ориентацией частично можно объяснить более позднее начало исследований славянских народов в Норвегии, чем в соседних странах, монархи которых многие столетия именовались «королями варягов».

Однако между Норвегией и славянским миром контакт не прерывался. Корэ Селнес (1910—1982) в своей работе «Норвегия — Россия. Народы-соседи на протяжении 1000 лет» («Norge-Russland. Grannfolk gjennom tusen aar». Oslo, 1972) указывает на особенно оживленные норвежско-русские отношения в первой половине XVIII в. Например, в военно-

---

Гримстад Кнут — студент III курса Школы славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета (отделения русистики и полонистики).

морском флоте Петра Великого значительную часть моряков составляли норвежцы, в том числе два адмирала — Круйс из города Ставангер и Бредаль из Трондхейма.

В первой половине XIX в. появились первые записки путешественников по славянским странам (причем, кроме России, особенно увлекали норвежских литераторов и читателей Балканы). А в 1825—1830 г. Кристоффер Ханстен, один из самых знаменитых профессоров нового Фредрикс-университета в Кристиании, совершил научно-исследовательскую экспедицию в Россию с целью найти магнитный Северный полюс.

Первая норвежская научная работа по славистике написана в 1851 г. Людвиком Кристенсеном До. Название этой работы «О связях литовского народа со славянами» («Om den litauiske folkestammes forhold til den slavoniske». Kristiania.) указывает на ее этнографический характер, однако, это прежде всего, лингвистическое исследование. Не делая различия между языковым и национальным родством, До проводит этнографическое исследование на лингвистической основе. Работа До об отношениях между славянскими и балтийскими языками («литовский» означает у него именно балтийский) заслуживает многих критических замечаний. Нельзя забывать, однако, что в 1851 г. еще не появилось фундаментальное исследование «Vergleichende grammatik» Боппа (1868—1871), работы Шлейхера и Миклошича. Иными словами, основы для работы, подобной До, еще не было. Эта работа о славянских и балтийских языках осталась почти незамеченной. Но сам До не потерял интерес к славянским народам. В 1867 г., вместе со своим двоюродным братом, профессором, занимающимся лапландским языком, Иенсом А. Фрисом, он путешествовал по Северной Норвегии, Кольскому полуострову и Карелии. Впоследствии Фрис опубликовал книгу «Монастырь в Печенге» («Klosteret i Petschenga». Kristiania, 1884). В этой работе он старался описать русскую колонию на северо-западных территориях; она была переведена на немецкий, шведский и русский языки.

Именно близость северных территорий России играла важную роль при первоначальных попытках внедрить изучение русского языка в Норвегии. С Кольского полуострова и беломорского побережья в северную Норвегию плавали поморы, русские купцы и мореплаватели, чтобы менять зерно и древесину на норвежскую рыбу. Более или менее регулярная торговля вызывала необходимость в знании русского языка. Поэтому в северном городе Тромсэ впервые в Норвегии было начато изучение русского языка и русской культуры.

В Тромсэ в 1849 г. приехал Ханс Блом (1819—1881) и занял должность директора местной городской школы. Блом был способным, хорошо образованным преподавателем, он самостоятельно выучил русский язык и начал писать о России, ее языке, веровании и литературе. Основные его работы: трехсотстраничный «Учебник русского языка для практических нужд» («Russisk sproglære til praktisk behov». Kristiania, 1876) и «Записки о русской церкви» («Medelelser om den russiske kirke», Kristiania, 1874) с преимущественным вниманием к старообрядцам.

В России Блом побывал довольно поздно (в 1870 г.). К тому же его знание языка, полученное самостоятельно, оставалось недостаточным. Очевидно, что он работал без контакта с другими славистами, и поэтому у него встречаются ошибки и недоразумения, которые сегодня удивляют. Блому была присуща некоторая осторожность и неуверенность; чувствуется, что он не решался противоречить уже признанным авторитетам.

Деятельность Блома в области славистики прежде всего служила практике (он не хотел, чтобы норвежским детям пришлось ехать в немецкую купеческую школу в Архангельске учиться русскому языку). К сожалению, когда он уехал из Тромсэ, продолжать его работу было

некому. Для норвежской славистики деятельность Блома была скорее прелюдией, чем истинным началом.

Прочную основу этой области филологии создал Улаф Брок (1867—1961), сын купца и владельца пивоваренного завода. Отец и поощрил интерес сына к русскому языку, обеспечил ему возможность многочисленных путешествий в Россию. В университете в Кристиании Брок учился под руководством знаменитых филологов и историков, в том числе Софуса Буггэ. С научными целями он выезжал за границу, где его изысканиями руководили Лескнен, Сиверс и Бругманн в Лейпциге и Ягич в Вене. Во время пребывания в России он познакомился с Шахматовым и Фортунатовым.

Брок изучал язык по принципам младограмматиков и, используя методы современной фонетики, он начал свою исследовательскую работу. Брока занимала прежде всего устная речь, и его самым замечательным исследовательским инструментом было собственное ухо. Работа началась в 1895 г. в тогдашней Венгрии, которая из-за своей многонациональности представляла для молодого языковеда-диалектолога особенно интересное поле деятельности. Выбор территории, на которой существуют разные языковые группы — типичен для него. Свои результаты он опубликовал в работе «О малорусском в Венгрии» («*Zum kleinrussischen in Ungarn*». *Archiv für slavische Philologie*. Berlin, 1895), но желая защитить эту работу как докторскую диссертацию, он испытал трудности, кажущиеся нам странными, но в то же время свидетельствующие о том, что даже в столице, университетском городе, условия для новой научной области отнюдь не были идеальными: департамент отказался выделить средства для того, чтобы оплатить проезд иностранного оппонента. Однако позднее Брок стал доктором *honoris causa* пражского университета.

Несмотря на разнообразие сложности, Брок продолжал свою деятельность в 1895 г. Он начал изучение литовских и белорусских диалектов, а в 1897 и 1899 г. вышли в печать итоговые результаты его работы в Венгрии «Исследования словацко-малорусской языковой границы в восточной Венгрии» («*Studien von der slovakisch-kleinrussischen Sprachgrenze im östlichen Ungarn*». Kristiania, 1899). Для Австрийской Академии наук в 1899 г. Брок предпринял исследовательскую экспедицию в Южную Сербию, в область близ болгарской границы. Результаты поездки были опубликованы в работе «Диалекты южной Сербии» («*Die dialekte des südlichsten Serbiens*». *Wiena*, 1903).

В 1902 г. Брока пригласила Российская Академия наук для изучения русских диалектов, и, по совету Шахматова, он выбрал северорусский диалект, распространенный в Тотьме, и несколько типичных южно-русских диалектов, которые он собирал в Мосальске. Вторая большая заслуга Брока перед Российской Академией наук заключалась в том, что он собрал славянскую звукофизиологию для «Энциклопедии славянской филологии» под редакцией Ягича. В этот большой труд Брок внес вклад своей работой «Очерк физиологии славянской речи» (Петербург, 1910), больше известной по названию немецкого перевода «*Slavische Phonetik*» (Петербург, 1911), которая считается венцом его исследовательской деятельности. Здесь Брок использует не только свой необыкновенный слух и выдающиеся способности диалектолога, но и обнаруживает глубокое знание всего славянского лингвистического поля и способность охватить огромный, многоаспектный материал. «*Slavische Phonetik*» не устарела и была переиздана в 1977 г.

Следует упомянуть интерес Брока к межкультурным контактам, особенно его исследование русско-норвежского или «руссенорска», своеобразного, гибридного языка, употреблявшегося во время меновой торговли



в Северной Норвегии. Интерес Брока к этому языку обнаружился довольно поздно, так как количество людей, владеющих им после Октябрьской революции, значительно сократилось.

Улаф Брок жил долгие годы и сохранил работоспособность до последних дней своей жизни. Он был профессором славянологии в университете в Осло, возглавлял Норвежскую Академию наук. Несмотря на различные трудности, Брок достойно справлялся с возложенными на него обязанностями. На протяжении двадцати лет после выхода в отставку, Брок наблюдал за развитием норвежской славистики, уже постепенно набирающей силу. Можно сказать, что Брок был родоначальником собственно норвежской славистики, своим примером он вдохновил новое поколение ученых-славистов, к которым уже во второй половине 20-х годов относились К. Ш. Станг, Э. Краг и У. Рюттер.

Кристиан Швейгард Станг (1900—1977) в 1937 г. стал преемником профессора Брока в университете в Осло. Со Станга начинается период усиления внимания к языковой ситуации более ранних этапов развития. Одновременно усиливалось влияние французской лингвистики, тогда как немецкие традиции ослаблялись. Балтийские языки, их исследование, значительно укрепили свои позиции в Норвегии. Деятельность Станга по сравнению с работой Брока, как нам кажется, была более значительной в развитии норвежской славистики в международной перспективе.

Станг неоднократно бывал за рубежом, сначала как студент-славист, а потом как самостоятельный исследователь. Он путешествовал по России, Литве, Латвии и Польше, выезжал во Францию, Австрию и Англию, где встречался с крупными учеными-филологами, например, с Мейе, Вандриесом и Трубецким. Сам он считал, что наиболее сильное влияние на него оказал Мейе.

Исследовательская область Станга — славянское и балтийское историческое языкознание, прежде всего фонетика и словообразование на солидной индоевропейской основе. После целого ряда ценных работ, посвященных литовским языковым памятникам и славянскому языку в Великом княжестве Литовском, Станг опубликовал первую из своих монографий по сравнительному изучению языков — «Das slavische und baltische Verbum» (Oslo, 1942). Эта работа не утратила своего значения, оставаясь значительным достижением в исследованиях данной темы. Рассматривая здесь параллелизм и разницу между двумя глагольными системами, Станг определяет их место в индоевропейской языковой семье и делает два вывода: а) в раннее пост-индоевропейское время балтийская и славянская глагольные системы были очень близки и б) среди остальных индоевропейских языков самое большое количество совпадений со славянской и балтийской системами имеют в своей глагольной системе германские языки.

В 1952 г. в Осло вышла «Славянская акцентуация» («Slavonic Accentuation»), где представлено описание праславянской акцентной системы в сопоставлении с индоевропейской и балтийской, а в 1966 г. — самая крупная работа Станга «Сравнительная грамматика балканских языков» («Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen»). Эту работу сложно сравнить с другими, так как она пока единственная в своем роде. Здесь вновь на солидной индоевропейской основе Станг освещает всю балтийскую языковую историю, представляет окончательные выводы по проблеме, занимавшей его всю жизнь — об отношениях между славянской и балтийской языковыми группами.

Будучи в течение 32 лет профессором университета в Осло, Станг оказывал большое влияние на славянское языкознание в Норвегии. Именно благодаря ему историческая грамматика, изучение древнерусского и церковнославянского языков приобрели значительное место не

только среди славяноведов-исследователей, но и были включены в университетский учебный план. При Станге норвежская славистика достигла такой степени развития, которая уже позволяла ему не заниматься всей областью дисциплины, а сосредоточиться на языкознании. Известно, что его лекции и семинары всегда были логически стройными, что Станг всегда отвечал основательно и доброжелательно на любые заданные студентами вопросы, даже на самые наивные. Он блистал своим сухим и своеобразным юмором.

Литературовед Эрик Краг (1902—1987) из университета в Осло, как и Станг играл важную роль в норвежской культурной и общественной жизни. Его дед и отец были писателями, принадлежащими к группе самых значительных неоромантиков в Норвегии. Ничего удивительного в том, что Эрик Краг избрал сферой своей деятельности литературу. Наряду с исследовательской работой Краг много занимался собственно литературным творчеством. К своей исследовательской работе он подходил как художник, считая литературоведение «искусством на научной основе». Во всей его деятельности — научной, лекционной и преподавательской, заметна эта комбинация.

С Крага начинается важное в Норвегии исследование славянских литератур, хотя это не означает, что до него ничего не делалось. В Норвегии были хорошо известны русские реалисты и, разумеется, их произведения изучались критиками и литературоведами.

В 1920-е годы, во время обучения в Москве и Ленинграде, Краг познакомился с формальной школой Виноградова и Сакулина. В 30-е годы Краг побывал в Польше и Чехословакии. Несмотря на то, что большая часть его работ посвящена русской литературе, Краг также внес свой вклад в изучение других славянских литератур. В 1932 г. в Осло была опубликована его докторская диссертация «Борьба с западническими идеями в русской духовной жизни» («Kampen mot vesten i russisk aandsliv») — увлекательное представление философии славянофилов. Эта работа имела философско-историческую направленность, причем именно этот аспект особенно важен для Крага и в его исследованиях художественной литературы.

В 1937 г. в Осло вышла следующая монография Крага «Лев Толстой. Ранние произведения. Война и мир» («Leo Tolstoj. Ungdomsverker. Krig og fred»). Изучая Толстого-художника, он внимательно анализирует первый период толстовского творчества. Исследуя эстетическую сторону произведений, Краг использует современные достижения советской науки, прежде всего работы Б. Эйхенбаума. Самое крупное исследование Крага появилось только после второй мировой войны — книга «Достоевский» («Dostojevski». Oslo, 1962), изданная также на английском языке («Dostoevsky — the literary artist». Oslo, 1976). Здесь внимание ученого акцентируется на анализе художественного аспекта произведений. Но ее особое достоинство в том, что Краг исследует раннее творчество Достоевского. Книга содержит интересный обзор научных достижений целого ряда зарубежных литературоведов, в том числе К. Мочульского. Как литературоведческий труд, книга Крага о Достоевском обрела очень широкую читательскую аудиторию.

Современником Станга и Крага является и славист Улаф Рюттэр (род. в 1903 г.). Он тоже сын известного норвежского писателя, но если отцы Крага и Станга пользовались риксмолем (одним из двух официальных языков Норвегии), то отец Рюттэра писал на другом — нюнорске<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Современная языковая ситуация в Норвегии характеризуется существованием двух родственных и равноправных языков: так называемого букмола (буквально — «книжный язык») — современного варианта риксмолла — это своего рода результат развития городских говоров, которые в течение нескольких столетий подвергались

У. Рюттэр, сторонник нюнорска, пользующийся этим же языком, «лишенным датского влияния», издает книгу «Происхождение славянских языков» («Slavisk maalreising». Oslo, 1934). Книга сама по себе вызвала особый интерес в Норвегии, где языковые условия чем-то напоминают ситуацию, сложившуюся у многих славянских народов.

Рюттэр непродолжительное время после второй мировой войны был связан с университетом, где он преподавал западнославянские языки. Основная область его интересов — пушкинские поэтические произведения. В 1966 г. в Осло вышел его перевод «Евгения Онегина», который Рюттэр предварил прекрасным предисловием — очерком о жизни и творчестве Пушкина.

После 1945 г. норвежская славистика обретает более значительное место в университете в Осло, что связано с ролью СССР в победе во второй мировой войне. Подъем интереса в это время сказался и в том, что было начато обучение русскому языку в нескольких школах. Создавались новые курсы лекций, облегчилась организация научных командировок в страны изучаемых языков и ознакомления с международной славистикой. Однако события в СССР в конце 40-х годов, перемены политического климата вообще, привели к приостановке обучения русскому языку в школах; в университете позиции славистов были гораздо слабее, чем в других скандинавских странах. Однако надо подчеркнуть, что именно во время этого застоя, в 1954 г., норвежские Вооруженные Силы основали свои курсы русского языка, которые в основном преследовали практические цели. Со временем эти курсы приобрели более широкий характер, благодаря Алексею Бдердстрэму Ансбергу (1926—1957). Он известен как исследователь Лескова; его статья «Обрамляющее повествование и повествование от первого лица у Н. С. Лескова» («Frame Story and First Person Story in N. S. Leskov». Scando-Slavica. Kjøbenhavn, 1957) является первой в Норвегии работой, где последовательно применена аналитическая техника русских формалистов.

Начало работы Арнэ Галлиса (род. в 1908) в университете в Осло означало, что южнославянские языки опять стали важным объектом для норвежской филологической науки. Все крупнейшие работы посвящены именно этой языковой группе, в частности сербохорватскому языку. Исследования Галлиса прежде всего касались синтаксиса — области, где он проявил особую научную самостоятельность. Его крупнейшие работы — «Исследования по славянскому сравнению. Синтаксис сравнения неравенства в церковнославянском и в других южнославянских диалектах в средние века» («Études sur la comparaison slave. La syntaxe de la comparaison d'inegalité en vieux-slave ecclesiastique et dans les autres dialectes slaves meridionaux du moyen âge». Oslo, 1947), которую он защитил как докторскую диссертацию, и монография «Синтаксис относительного предложения в сербохорватском в историческом аспекте» («The Syntax of Relative Clauses in Serbo-Croat. Viewed on a historical basis». Oslo, 1956). Галлис был первым преподавателем сербохорватского и болгарского языков.

С 1965 г. до второй половины 70-х годов норвежская славистика претерпевала изменения, связанные, прежде всего, с перестановками университетских должностей и увеличением количества ставок. Этот рост типичен не только для славистических предметов, но представлял собой

---

сильному влиянию датского языка, и нюнорска (новононорвежского), сложившегося в основном из говоров западной Норвегии.

Можно сказать, что определенный драматизм, коренящийся в ситуации двуязычия, повлек за собой повышенный интерес к языку, что вдохновило писателей на творческие эксперименты, сделавшие норвежскую литературу живой и разнообразной.

часть общего расширения в системе образования, которое, в свою очередь, было следствием быстрого увеличения числа студентов — так называемого «студенческого взрыва». В университете в Осло требовалась реорганизация, была создана новая инфраструктура. Основанный в 1954 г. Славянский институт был преобразован в Славяно-балтийский институт, руководимый сначала Стангом, потом — Галлисом.

После 1970 г. процесс развития норвежской славистики отмечается вне университета в Осло: в университете в Бергене (основанном в 1948 г.) и Тромсэ (основанном в 1972 г.) вводятся новые курсы русского языка и русской литературы. Таким образом, после 1970 г. образуется три центра норвежской славистики: Славяно-балтийский институт в Осло и русские отделения в Бергене и Тромсэ. Осло продолжает занимать ключевую позицию, так как лишь в Славяно-балтийском институте ведется обучение наряду с русским, другим славянским языкам.

Положение и достижения современной славистики связаны с именами нового поколения норвежских славистов.

Сири Свердрюп Люнден (род. в 1920 г.), профессор русского языка и литературы, занимается в основном допетровской литературой, церковнославянским и древнерусским языками. Самой крупной ее работой считается «Трондхаймский русско-немецкий словарь. Вклад в русскую лексикографию XVII в.» («The Trondheim Russian-German Vocabulary. A Contribution to the 17th Century Russian Lexicography». Oslo, 1972), в которой исследуется единственная славянская рукопись, найденная в Норвегии. Люнден приходит к выводу, что для этой лексики второй половины XVII в. главным источником является «Janua linguarum» Коменнуса. Ее работа «Возвращение к русско-норвежскому» («Russensorsk revisited». Oslo, 1978), посвященная гибриднему русско-норвежскому языку, также вызывает большой интерес. Люнден — одна из трех составителей первого большого русско-норвежского словаря.

Гейр Хьетсо (род. в 1937 г.), преподаватель-русист и один из самых продуктивных славистов-исследователей. Его докторская диссертация «Евгений Баратынский. Жизнь и творчество» (Осло, 1973) считается основополагающей для всех последующих исследований этого поэта. В 1985 и 1990 гг. в Осло вышли написанные им биографии: Достоевского — «Достоевский. Жизнь поэта» («Dostojevskij. Et dikterliv») и Гоголя — «Николай Гоголь. Загадочный поэт» («Nikolaj Gogol. Den gaatefulle dikteren»), переведенные на многие языки.

Хьетсо играл значительную роль в расширении применения компьютеров и электронно-вычислительных машин в норвежской славистике. Именно при помощи компьютеров и количественных методов он с группой сотрудников попытался решить вопрос об авторстве «Тихого Дона»<sup>2</sup>.

В последние годы по поручению Академии наук СССР он использовал тот же метод, стараясь решить вопросы об авторстве Достоевского относительно некоторых приписываемых ему произведений.

Благодаря Г. Хьетсо на норвежском читают Бунина, Гоголя и Достоевского. Его часто приглашают с лекциями в американские славистические центры различных университетов.

Юстейн Бэртнес (род. в 1937) — профессор русского отделения в Бергене, с 1979 по 1982 г. занимавший должность лектора в Кембридже. Специалист по древнерусской литературе, он защитил докторскую диссертацию «Древнерусские жития святых. Поэтическое своеобразие и историческое значение» («Det gammel-russiske helgenvita. Dikterisk egenart og historisk betydning». Oslo, 1975). В ней рассматриваются средне-

<sup>2</sup> Русские переводы соответствующих работ см. [1; 2], ср. также новейшую дискуссию по поводу исследований Г. Хьетсо в [3]. — *Прим. ред.*

вековые легенды с помощью структуралистского метода, что позволяет обнаружить их богатство. Книга Бэртнеса предлагает переоценку восточноевропейской средневековой культуры, подчеркивает основное значение для нее византийской культуры. Бэртнес отказывается от теории Д. С. Лихачева о восточноевропейском «прото-Ренессансе» в XIV в.

Тере Матиассен (род. в 1938) — последователь Станга; он сохранил традиции межвоенного периода норвежской лингвистики. Кроме русистики он занимается балтийскими языками (особенно литовским). Его главная исследовательская работа — докторская диссертация «Исследования по славянской и индоевропейской долготе гласных» («Studien zum slavischen und indoeuropäischen Langvokalismus». Oslo, 1974), в которой он рассматривает вопрос чередования в славянской флексивной и словообразовательной системе, ставит ее в контекст остальных индоевропейских языков.

Улэ Микаль Селберг (род. в 1938) — преподаватель польского языка и литературы, автор целого ряда литературоведческих работ, публикаций о польско-норвежских культурных связях; известный переводчик — он перевел произведения Милоша, Мржежа и Ружевица.

Мартин Наг (род. в 1922 г.) — литературовед, русист, полонист; автор многочисленных сравнительных работ и работ рецептивного характера, например, «Гамсун в русской духовной жизни» («Hamsun i russisk aandsliv». Oslo, 1969) и «Ибсен в России» («Ibsen i Russland». Oslo, 1967).

Эрик Эгеберг (род. в 1941 г.) — профессор Русского отделения в Тромсэ. Его докторская диссертация посвящена поэтическому творчеству А. Фета. Он занимается библиографической деятельностью, является редактором скандинавского славяноведческого ежегодника «Slando-slavica» и ежегодного издания «Норвежские исследования о культуре славянских и балтийских народов» («Norsk litteratur om de slaviske og baltiske folks kultur». Oslo, 1973).

В заключение обзора развития норвежской славистики следует сказать несколько слов о специфической ситуации, непосредственно относящейся к славистике.

Вследствие серьезных перемен в Восточной Европе в Норвегии возникла необходимость в образованных чиновниках и исследователях (экономистах, адвокатах, обществоведах и т. д.), способных следить за развитием ситуации в пост-социалистических странах, вести квалифицированный анализ специфических проблем этого региона, исходя из позиций и интересов своей страны.

В Осло в 1989 г. начаты восточноевропейские исследования (ВЕИ), т. е. направления науки, относящиеся к сфере изучения восточноевропейских культур, обществ СССР, Польши, Чехословакии, Венгрии, Югославии, Румынии и Албании. Следовательно, ВЕИ должны включить в себя и гуманитарные, и общественные науки. Однако лингвистические и исторические науки (литературоведение, философия, история языков, история религии и т. д.) важны для ВЕИ лишь применительно к современным условиям в данном регионе. Таким образом, большая часть традиционной славистики находится вне ВЕИ.

ВЕИ существенно отличаются от более традиционных исследований своей «региональностью». Они должны включить в себя разные характеристики этого региона: экономику, государственную структуру, внешнюю политику и региональную интеграцию, социологию, право, искусство, религию, этнографию и язык. Итак, возникает интересный и актуальный вопрос: каким образом и до какой степени может традиционная славистика сотрудничать с другими научными дисциплинами в ВЕИ?

Что касается ВЕИ в Норвегии, в отличие, например, от Школы славянских и восточноевропейских исследований («School of Slavonic and

East European Studies») в Лондонском университете и похожих институтов в Германии и Франции, здесь отсутствуют университетские исследовательско-преподавательские ставки. В этом, как представляется, главная сложность. В целях будущего развития ВЕИ в Норвегии следует более серьезно подойти к формированию нового поколения исследователей.

Значение славистики для ВЕИ и их сферы деятельности заключается в следующем:

— обучение языкам славянских и балтийских народов СССР и Восточной Европы;

— распространение общих культурных и специальных знаний об этих народах:

— контакт со славистами и литераторами в Восточной Европе, участие в международных организациях (Международный комитет славистов, Скандинавское общество славистов и т. д.);

— консультативная, переводческая деятельность для нужд властей, народного хозяйства, политической и общественной жизни.

Имеющиеся у славистов научно-исследовательские ресурсы и компетенция сосредоточены в трех имеющих ключевое значение для развития ВЕИ университетах: в Осло, Бергене и Тромсэ. Тем не менее, сферы специализации сильно отличаются друг от друга, к тому же данной исследовательской областью часто занимаются частные лица. В Осло, например, находятся специалисты по польской культуре, в частности, по отношениям между католической церковью и государством, по национальным меньшинствам; по югославской политической структуре и по национальным меньшинствам в Югославии и на Балканах. Для Бергена характерна прежде всего социокультурная ориентация (например, Ю. Бэртнес занимается советской политической риторикой). В Тромсэ специализируются на исследованиях северных территорий — университет сотрудничает с недавно основанным Центром арктических исследований им. Р. Амундсена.

Следует подчеркнуть необходимость для развития ВЕИ междисциплинарного, взаимодействующего научного сотрудничества, причем обнаруживается необходимость в образовании национального координационного органа. Отделения и программы во всех трех университетах стараются проводить свою деятельность с позиций междисциплинарного сотрудничества в пределах ВЕИ, однако существуют большие различия между ними: можно сказать, что обучение в Осло уже хорошо поставлено, тогда как в Бергене и Тромсэ — это новое дело.

Представляется, что положение славистики в Норвегии — типично для малых стран. Если говорить о том, что достигнуто, несложно найти недостатки и «белые пятна». Собственно говоря, для норвежской славистики характерно то, что только в области русистики можно говорить о многостороннем охвате, хотя и здесь остается большое поле для деятельности.

Что касается университетских преподавателей, современная норвежская славистика, пожалуй, не отстает по развитию от своих скандинавских соседей, но количество студентов меньше, к тому же, обучение русскому языку на школьном уровне менее развернуто.

Скажем несколько слов о «штате» славистов в Норвегии.

Славяно-балтийский институт в Осло — относительно большой — имеет 9 постоянных ставок преподавателей и научных работников, обычно 6 ассистентов и одного советского лектора русского языка. Этот институт является единственным в Норвегии, где есть компетентные ученые в области албанской, болгарской, латвийской, литовской, македонской, польской, русской, сербохорватской, словенской, чешской и украинской

филологий (при этом надо подчеркнуть — румынскому и венгерскому языкам на университетском уровне не обучают).

Русские отделения в Бергене и Тромсэ — значительно меньше: Берген имеет 4 постоянные ставки, Тромсэ — 2. В обоих университетах обучение славянским языкам ограничивается русским.

Всех норвежских славистов объединяет необходимость исполнения многочисленных научных и преподавательских функций, иногда выходящих за пределы их специализации. Большая их часть регулярно публикует в прессе критические выступления по вопросам литературы и искусства, внося, таким образом, ценный вклад в норвежскую культурную жизнь. Через национальную организацию «Общество норвежских славистов» они принимают участие в скандинавской и международной исследовательской деятельности, причем скандинавское ежегодное издание «Scando-slavica» (Копенгаген) играет большую роль.

Норвежского славяноведческого журнала не существует, но Славяно-балтийский институт в Осло и Русские отделения в Бергене и Тромсэ выпускают отдельные издания и публикации.

Для норвежской славистики, как для славистики малой страны, типично преобладание русистики.

В этой области в норвежских университетах, как и в большинстве английских, придается максимальное значение самому преподаванию языка, хотя в то же время в английских учебных заведениях придают особенное значение и другой сфере — политической истории. В Норвегии до сих пор славистика — это в основном филологическая русистика, сосредоточенная на языке и литературе.

Роль славистики в развивающихся сейчас в Норвегии ВЕИ безусловна. Важность овладения языком — очевидна, умение использовать исторический и литературный материал на оригинальном языке — существенно, и поэтому мы с удовлетворением наблюдаем, что ВЕИ осуществляются в университетах в Осло и в Бергене и что слависты всех трех университетов уже вносят ценный вклад своей филологической компетенцией в междисциплинарное сотрудничество.

Типичная для норвежской славистики черта в последние 6—7 лет это «постепенно зреющий оптимизм», тогда как в 70-е годы и в первой половине 80-х годов славистика была обойдена вниманием со стороны общества и властей. Негативный эффект этого положения на формирование нового исследовательского поколения, к сожалению, ощутим даже сегодня. Только последние годы позволяют нам говорить о позитивной перемене: произошла смена поколения, и норвежская славистика усиливается, оживляется.

Что касается преподавания языков, то оно более ориентировано на практические цели — в этом можно видеть знамение времени. К тому же, славистика включает в себя новые аспекты — историю и обществоведение.

Как нам кажется, восточноевропейский мир в настоящее время считается более доступным и как бы более «актуальным», и при этом — что особенно положительно — наблюдается возрастающий интерес молодого поколения именно к славистике.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хьетсо Г. Буря вокруг «Тихого Дона». — В кн.: «Тихий Дон»: уроки романа. Ростов-на-Дону, 1979.
2. Хьетсо Г., Густавсон С., Бекман Б., Гул С. Кто написал «Тихий Дон»? (Проблема авторства «Тихого Дона»). М., 1989.
3. «Шолоховский вопрос»: продолжение разговора. — Вопросы литературы, 1991, № 2, с. 3—81.



## ДВА МНЕНИЯ ОБ ОДНОЙ КНИГЕ

*Л. Н. ТИТОВА. Чешская культура первой половины XIX в.*  
Отв. ред. С. В. Никольский. М., 1991, 233 с.

Рецензируемая работа Л. Н. Титовой представляет интерес как серьезное исследование в области богемистики, как удачная попытка представить чешскую культуру первой половины XIX в. в целом. Важно отметить, что эта работа предлагает для обсуждения ряд общих историко-культурных проблем: о соотношении отдельных эпох и стилей, о национальном в культуре, о культуре профессиональной и народной.

На обширном материале различных видов искусства, и шире — культуры, Л. Н. Титова показывает, что между отдельными эпохами и периодами в развитии культуры не существует четких границ, что они проведены исследователями и абсолютно условны. К сожалению, долгое время во многих трудах эти границы воспринимались и воспринимаются как непосредственные историко-культурные данные, что мешало реконструкции реального положения вещей. Л. Н. Титова решительно отказывается от подобного подхода и внимательно прослеживает, как в чешской культуре первой половины XIX в. сталкивались и сливались воедино различные ее тенденции: как идущие от прошлого, характерные для эпохи Просвещения, так и предвосхищающие будущее — т. е. те, которые знаменуют дальнейшее развитие реалистического искусства. Автор показывает, как схождение этих тенденций в едином культурном пространстве определило специфику чешского романтизма. Не отказываясь окончательно от

принятого ранее деления на периоды и стили, памятуя о рубежах, автор предлагает убедительную картину взаимодействия этих периодов и стилей во времени. Они постепенно сменяют друг друга, как бы врасдая друг в друга. Если при их встречах не происходит взрывов (что тоже возможно), то эти стили и характерные приметы разных историко-культурных периодов распространяются вширь, причем отнюдь не сразу на все сферы культуры.

В рамках этой концепции Л. Н. Титова прослеживает взаимодействие дидактического начала Просвещения с культурой XIX в., рассматривает, как в ней возобладал национальный аспект. Именно он, расширенный до комплекса национально-освободительных идей, играл важную роль в то время. Соответственно и в работе он, а не социально-политический аспект, выведен на первый план, что совершенно справедливо. Ведь последний всегда связан с культурой опосредованно, в то время как национальные идеи зачастую реализуются в формах художественных, что подробно показано автором.

Л. Н. Титова исследует не только литературу, но и другие виды искусства. Значительное внимание уделяется театру, специалистом по которому является автор. В поле зрения включены и музыка, и живопись, и архитектура. Но книга при этом не распадается на отдельные параграфы, посвященные различным видам искусства, чем грешат



иные работы. Автор стремится представить их в системе, выделяет доминанту, выявляет их взаимозависимость. Л. Н. Титова не следует «предписаниям» искусствоведов, не повторяет их выводов и результатов, а выделяет в исследуемом материале специфические историко-культурные характеристики, что и придает работе «собственное лицо». Автора привлекает прежде всего вопрос о том, что и как связывает различные виды искусства воедино, в целостный образ, что общего между бытовой и художественной культурой, литературой и публицистикой, наукой.

Как серьезное достоинство рецензируемой работы следует отметить то обстоятельство, что Л. Н. Титова осознает важность изучения не только таких сфер культуры, как отдельные виды искусства, но и определяет историко-культурные параметры жизни города. Приметы официальной культуры и быта того времени (балы, беседы, «декламованки») описаны подробно, как составляющие историко-культурного процесса. Такой подход к культуре, расширение ее привычных границ представляется удачей автора. Рассмотрены и вопросы, связанные с образованием: подробно освещена роль в культурной жизни школ, университета.

Как особый вид связи общества с художественной культурой представлена критика. Постепенное вхождение в критику социально-политических проблем не ушло от внимания Л. Н. Титовой.

Автор не боится превратить последовательное изложение историко-культурного процесса некоторыми самостоятельными экскурсами. К ним относятся очерки о театре Й. К. Тыла, творчество К. Махи, Я. Коллара. Особо останавливается Л. Н. Титова на развитии славянской идеи. Эти узловые моменты развития чешской культуры, ее ведущие деятели выделены совершенно правомерно и справедливо оставят внимание читателя.

В широком историко-культурном контексте Л. Н. Титова рассматривает столь важную для чешской культуры проблему языка. Лингвистические программы освещаются без срыва от общего движения культуры. Здесь могли бы найти место суждения и о культурообразую-

щей функции языка вообще, что подвело бы теоретическую основу под рассмотрение автором специфического чешского материала. Значительное внимание уделила Л. Н. Титова взаимодействию фольклора и профессиональной культуры; примечательно, что оно рассмотрено на материале не только литературы, но и музыки, и изобразительного искусства.

Объединяет все главы книги сквозная идея связей чешской культуры с русской, венгерской, немецкой, без чего картина чешской культурной жизни XIX в. была бы, конечно, неполна.

Рецензируемая монография продолжает ряд работ автора по истории чешской культуры и театра. Она расширяет сложившиеся представления об этих предметах и предлагает свой ракурс анализа. Рассматривая широкий спектр явлений именно как факты культуры, а не только живописи, скульптуры или публицистики, автор добивается очень интересных результатов — чешская культура первой половины XIX в. предстает действительно как целое. Все ее сферы оказываются взаимосвязанными. Предлагая читателю проследить путь становления фактов культуры, Л. Н. Титова решает еще одну проблему: она пишет реальную историю культуры Чехии первой половины XIX в., не загоняя ее в традиционные хронологические рамки. Этим работа интересна и значима. Она, несомненно, войдет в ряд книг, полезных не только богемистам, но и славистам вообще.

*Софронова Л. А.*

Литература по богемистике обогатилась новой книгой Л. Н. Титовой, уже много лет разрабатывающей отдельные аспекты развития культурного процесса в Чехии периода национального возрождения. Автору принадлежит монография о чешском театре [1], ряд научных статей (например, [2]), так что рецензируемый труд, очевидно, обобщает собранный по избранной проблематике материал. Это не только первый, но пока и единственный отечественный опыт освещения чешской культуры периода национального возрождения во всем ее комплексе: в предшествующей литературе затрагивались лишь ее отдельные аспекты. Из этой книги Л. Н. Титовой

читатель получит совокупное представление о становлении чешской национальной культуры в новое время и о ее развитии в период формирования чешской нации. В трех главах освещаются пути развития чешской литературы, начиная от эпохи Просвещения (основное внимание уделено периоду 30–40-х годов XIX в.), содержится много интересного материала о развитии чешского театра и драматургии. Убедительно показано, каким действенным средством воспитания национального самосознания был театр, ставивший пьесы на исторические сюжеты на чешском языке; говорится о развитии публицистики и научных изданий, об общественных национальных акциях (балы, «беседы», народные гуляния), имевших целью привлечение широких масс к национальной идее. Читатель найдет в книге и некоторые сведения о чешской музыке — как профессиональной, так и народной, о наиболее замечательных архитектурных сооружениях, созданных в первой половине XIX в. в Праге и некоторых других городах, о различных аспектах культурного процесса, который освещается по хронологическому принципу, что дает возможность проследить динамику его развития, нарастание культурных достижений и распространение национальной идеи к концу исследуемого периода.

В монографии немало ценных и оригинальных характеристик отдельных деятелей культуры, например, новая оценка творчества поэта К. Г. Махи, появившаяся в последнее время в чешском литературоведении и разделяемая автором (с. 132–133). Весьма плодотворным представляется стремление Л. Н. Титовой привести на русском языке (чаще всего в собственном переводе) некоторые исторические и литературные источники. Так, на с. 190–192 приведен большой отрывок из статьи К. Гавличка «Славянин и чех», где ярко отразились взгляды чешского писателя и публициста на славянство. В целом книга Л. Н. Титовой представляет большой интерес и принесет пользу самым различным слоям любознательной публики.

Вместе с тем, с нашей точки зрения, работа очень бы выиграла, если бы культурный процесс в чешском обществе первой половины XIX в. рассматривался

в органической связи с общеисторическим. Основой последнего была промышленная революция, приведшая к глубочайшим социальным сдвигам. Зарождались новые классы и прослойки общества, новые идеи и взгляды на сущность человеческого бытия, что находило отражение в переживавшей процесс своего становления чешской культуре. Следует с сожалением отметить, что попытка автора охарактеризовать историческую обстановку в Чехии перед революцией 1848 г. не может быть отнесена к числу удачных, ибо основана в значительной мере на устаревшей литературе. В частности, имеется ссылка на книгу И. И. Удальдова, изданную в 1951 г. [3]. За истекшие с тех пор 40 лет в освещении и оценках событий произошли существенные изменения, в чем убеждает например, книга И. Штайфа «Революционные годы 1848–1849 и Чешские земли», опубликованная в 1990 г. [4]. Нельзя считать научно вполне плодотворным традиционный, недialeктический подход к оценке чешской культуры рассматриваемого в работе периода. Общеизвестно, что чешская культура первой половины XIX в. не создала (за редкими, единичными исключениями) шедевров европейского значения. Причины этого не требуют подробных разъяснений. Да и внутри этой развивавшейся национальной культуры не наблюдается того гладкого пути восхождения к совершенству, о котором создается впечатление в процессе чтения книги. Ведь национальная идея и патриотизм, являвшиеся двигателями возрождения чешского языка, литературы и т. д., выступали подчас и как тормоз прогрессивного развития культуры. Хорошо известно, как «патриоты» травили в печати Й. Добровского, омрачив последние годы жизни «великого старца», за то, что он не разделял общей эйфории по поводу «древности и подлинности» так называемой Зеленогорской рукописи. Весьма показательна и судьба широко известного деятеля чешского возрождения именно первой половины XIX в. А. Шемберы, также усомнившегося в подлинности ганковских подделок (не только Зеленогорской, но и Краледворской рукописи) и также затравленного националистической публицистикой. Такие корифеи как Ф. Палац

кий и П. Й. Шафарик – гордость чешской (да и не только чешской) культуры – из патриотических соображений прикрывали своим авторитетом подделки В. Ганки, объявив Краледворскую и Зеленогорскую рукописи (РКЗ) древнейшими памятниками чешской литературы. А ведь культ РКЗ тормозил развитие науки в Чехии, вводил в заблуждение языковедов, историков, археологов, правоведов и т. д. Из истории полемики вокруг РКЗ видно, как национальное самосознание может перерасти в национальное самомнение и становиться препятствием на пути прогресса культуры.

Наиболее удачными в книге представляются разделы, посвященные литературе и театру. Эта тематика опирается на монографическую ее разработку как самой Л. Н. Титовой, так и другими авторами [5]. Что же касается науки как одной из отраслей культуры, то освещение ее развития страдает, как нам представляется, существенными пробелами. Вероятно, было бы полезно остановиться на научных истоках национального возрождения, подробнее осветить языковые, этнографические, исторические сочинения, созданные в первой половине XIX в., характеризовать, например, творчество П. Й. Шафарика как автора трудов общеславянского, да и общеевропейского значения. Интересно было бы узнать о научных библиотеках и музейных собраниях, об университетском образовании и о деятельности научных обществ. По этим вопросам материала в книге или вовсе нет, или данные отрывочны, в то время, как можно было бы их расширить за счет сокращения хорошо уже разработанных в литературе сюжетов, на которые мы уже указывали. Далее, на наш взгляд, заслуживала бы большего внимания и публицистика; особенно полезно было бы остановиться на новой для своего времени концепции роли газет, выработанной К. Гавличком, а также на изменении общественной функции публицистики в рамках национального возрождения с 40-х годов XIX в.

Наконец, следует указать на некоторые допущенные в книге фактические ошибки и неточные формулировки. Говоря о Пражском университете первой половины XIX в., автор называет его «Карловым». Между тем, название «Кар-

лов университет» было установлено лишь в XX в. – законом от 19 февраля 1920 г., а в первой половине XIX в. в Праге существовал лишь немецкий «Фердинандов» университет. Говоря о сотрудничестве в журнале «Крок» (20-е годы XIX в.) физиолога Я. Е. Пуркине, автор называет последнего «профессором Карлова университета, активным деятелем пражской художественной жизни» (с. 20). Между тем, Я. Е. Пуркине стал профессором в Праге лишь в 1850 г., а до этого, начиная с 1822 г., служил во Вроцлаве. В чешских журналах он помещал статьи научного характера, а в «художественной жизни» не участвовал.

Вызывает удивление, что Л. Н. Титова, прекрасный знаток чешского языка, оставила без комментариев недостатки, которые содержатся в переводе Г. Можаровой поэмы К. Г. Махи «Май». В приводимом отрывке (с. 135) «Был майский вечер – ласки час» последние слова – чехизм, имеется в виду «пора любви». Что означает (здесь же) строка «Цветущих яблонь грусть лгала»? Это – тоже чехизм.

Особо следует остановиться на литературной базе книги. Автор явно предпочитает советскую литературу чешской и даже при ссылках на источники использует их русский перевод. Но ведь, признавая достоинства нашей литературы, нельзя игнорировать и чешскую, тем более, что в любой стране исследователи отечественных сюжетов обладают большими возможностями, чем иностранные, при разработке соответствующих проблем. Так, кроме работы А. С. Мыльникова [6] и других следовало бы учесть издание «Начало чешского национального возрождения» [7], тем более, что со времени издания книги А. С. Мыльникова прошло 14 лет. Источником сведений о работе в Пражском университете известного ученого Б. Больцано (с. 95–96) тоже явилась литература лишь на русском языке, уже успевшая устареть. А между тем специально деятельности Больцано в Пражском университете посвящена чешская монография М. Поливковой [8]. Перечень случаев неучета чешской литературы можно продолжить.

Использование источников не в подлиннике, а в переводе на страницах на-

учного исследования представляется совершенно недопустимым. Между тем, Л. Н. Титова постоянно ссылается на отечественную «Хрестоматию по истории южных и западных славян», а ведь это — учебное пособие, созданное на основе другого аналогичного издания — тоже хрестоматии, только на чешском языке. Такая источниковая база подрывает научную основу исследования, так как известно, что в учебных изданиях тексты подчас «облегчаются», особенно при переводе, что отрицательно сказывается на возможностях их верной интерпретации. В науке принято пользоваться более надежными изданиями и на языке подлинника. Если же это правило не соблюдается,

то необходимо констатировать, что работа не претендует на научность, а носит характер лишь популярной публикации.

Но несмотря на высказанные критические замечания рецензент считает, что в книге Л. Н. Титовой больше достоинств, чем недостатков. Наша литература получила очень полезное издание, которое сыграет большую роль в просвещении советского читателя, пока еще, как правило, плохо осведомленного в вопросах культуры чешского возрождения первой половины XIX в. Жаль, что ценная и оригинальная книга издана совсем малым тиражом.

Лаптева Л. П.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Титова Л. Н. Чешский театр эпохи национального возрождения. Конец XVIII — первая половина XIX в. М., 1980.
2. Титова Л. Н. Чешская культура. — В сб.: Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения. М., 1988, с. 83—113.
3. Удальцов И. И. Очерк по истории национально-политической борьбы в Чехии в 1848 г. М., 1951.
4. Štaif J. Revoluční léta 1848—1849 a české země. Praha, 1990.
5. Никольский С. В. Две эпохи чешской литературы. М., 1981.
6. Мыльников А. С. Эпоха Просвещения в Чешских землях. Идеология, национальное самосознание, культура. М., 1977.
7. Počátky českého národního obrození. Společnost a kultura v 70. až 90. letech 18. století. Praha, 1990.
8. Polívková M. Bolzanovo působení na Pražské univerzitě. Praha, 1985.

С. П. ЛОПУШАНСКАЯ,  
глагола. Волгоград, 1990.

*Развитие и функционирование древнерусского*

Книга профессора Софии Петровны Лопушанской, заведующей кафедрой русского языка Волгоградского университета, служит еще одним подтверждением того явно ненормального положения, когда вузовские ученые, стесненные полиграфической немощью нашей высшей школы, оказываются вынужденными втискивать серьезное научное исследование в прокрустово ложе «учебного пособия по спецкурсу». Этот жанр обусловил как несомненные достоинства, так и недостатки рецензируемого издания.

Работа С. П. Лопушанской имеет ярко выраженный концептуальный, и во многом полемический характер. В отличие от господствующего в современной исторической русистике мнения о единстве видо-временной системы (см. [1]) автор

разграничивает видовую и временную системы, допуская возможность изолированного анализа каждой из них. Сосредоточившись на рассмотрении грамматической системы времен, С. П. Лопушанская исходит из того, что «восприятие пространства и времени претерпело существенные изменения в сознании людей» и «представление о времени высказывания постепенно переосмыслилось и приобрело свойства грамматической абстракции» (с. 11). Это изменение в менталитете славян реализовалось в плане выражения либо путем дифференциации глагольных основ и суффиксов-флексий (например, в болгарском), либо путем их нейтрализации (например, в русском), а в плане содержания влекло за собой использование дифференцирован-

ных форм для противопоставления абсолютного и относительного времени (в болгарском) либо, напротив, унификацию системы времен, употребление одной формы как в относительном, так и в абсолютном значении (в русском).

При анализе развития древнерусской временной системы существенную роль играет разработанная автором новая классификация глаголов, учитывающая эволюцию соотношения претеритальной и презентной основ по признаку их равенства/неравенства в праславянском, древнерусском и современном русском языках. Выделяются три класса, в которые входят продуктивные и непродуктивные глаголы всех типов спряжения, а также четвертый класс нетематических глаголов. У глаголов первого класса на протяжении всей языковой истории сохраняется равенство основ: *меси-ти / мес-у*. По своей семантике данные лексемы распадаются на глаголы действия (*ити, печи, речи*), состояния (*мочи*), отношения (*блести*). Все они характеризуются тем, что степень длительности действия, ими обозначенного, не маркирована специальной морфемой. Второй класс составляют глаголы, постоянно сохраняющие неравенство основ: *зѣва-ти / зов-у, държа-ти / държ-ю, ходи-ти / хож-ю*. В структуре их основ маркирована длительность действия (состояния): в основе настоящего времени для этого служит неслоговой сонант \*-j- или \*-и- (ср. [2]), а в претеритальной основе — конечные долгие гласные \*ā, \*ē, \*ī. К третьему классу относятся глаголы, претерпевшие — вследствие фонематических изменений, связанных с принципом восходящей звучности, — исторические изменения в соотношении претеритальной и презентной основ: если в праславянском они совпадали, то в древнерусском — различались (ср. \*klīn-těi / klīn-ām) *кля-ти / кльн-у*). Общим в семантике этих глаголов является значение предельности действия либо его отдельных актов. Четвертый класс объединяет, как уже говорилось, атематические глаголы с различными основами настоящего времени и инфинитива, причем в древнерусском языке первоначальное противопоставление данных основ (ср. \*bū-těi / jēs-mi) сменилось их сложным взаимодействием; так, у глагола *быти* наблюдаются образования и от

претеритальных основ *бы-* и *бѣ-*, и от презентных основ *ес-, е-, с-, буд-* (ср. *буду* и *будяше* — имперфект), и от «морфологизированных вариантов» *бѣj-* (*бѣяше*) и *б'-* (*бѣше*). Семантика глаголов четвертого класса обнаруживает противоборство двух лексико-грамматических значений: предельности (*дати, бсти, вѣдѣти*) и непредельности (*быти, имѣти*).

Предложенная автором классификация, являющаяся первой попыткой выделить структурно-семантический признак в эволюции временной системы, позволяет по-новому взглянуть на некоторые процессы в истории древнерусского глагола.

Констатируя «большую подвижность функционально-семантических отношений между формами аориста и имперфекта», С. П. Лопушанская отмечает, что первоначальная функция аориста — «быть временной вехой отсчета для любого действия в прошлом», тогда как имперфект «мог выполнять уточняющую временную функцию, выражая одновременность, предшествование или следование по отношению к действию, обозначенному аористом» (с. 39–40). Однако в восточнославянском ареале эта оппозиция очень рано разрушается, причем формы имперфекта, выступая рядом с формами аориста, переосмысливаются в плане не временной, а видовой дифференциации. С точки зрения формальной противопоставленности аорист и имперфект переживают в древнерусском языке нейтрализацию, проявляющуюся в четырех типах формообразования: 1) обе формы производятся от одной глагольной основы (ср.: *взя / взя-ше, принес-е / принес-яше*); 2) одна форма образуется от обеих основ (*пожи* и *пожив-е, приима-ше — приемл-яше*); 3) формы аориста и имперфекта образованы от разных основ одного глагола (*нача / начьн-яше*); 4) формы аориста и имперфекта от однокоренных глаголов разных классов взаимодействуют (имперфект *пуца-ше* соответствует как аористу *пуца*, так и аористу *пусти*). Стирание семантических различий между двумя формами, нейтрализация глагольных основ, отсутствие единства при образовании простых претеритов — все эти факторы затрудняли установление четкой видовой корреляции аориста и имперфекта.

Напротив, формы настоящего времени благодаря «гармоническому развитию ви-

довых противопоставлений в пределах презентной основы» (с. 61) постепенно дифференцировались: развитие суффиксальных моделей видообразования приводит к тому, что у большинства соотносительных форм презенса совершенного и несовершенного вида возникает противопоставление суффиксов-флексий разных типов спряжения; именно в этом, по мнению автора, нашла свое формальное выражение уже в древнерусском языке временная оппозиция настоящего и будущего (простого).

Весьма оригинальным и плодотворным представляется проведенный С. П. Лопушанской анализ сложных глагольных форм с *л*-причастием, рассматриваемых,

	Прошедшее		Непрошедшее	
Реальное	<i>бяхъ</i>	<i>есмь</i>	+	<i>писалъ</i> <i>написалъ,</i>
Ирреальное	<i>быхъ</i>	<i>буду</i>		

уже в XI в., в условиях утраты временной противопоставленности аориста и имперфекта, нарушается. Вначале становится нерегулярным модальное противопоставление (*быхъ/бяхъ писалъ*), а затем и временное: раннее переосмысление глагола *будеть* в составе II будущего в условный союз, обусловленное функционально-семантической обособленностью сочетаний типа *Аще ся буду описалъ*, приводит к «изоляции единственного нейтрального вспомогательного глагола *есмь*, который, оказавшись вне системных противопоставлений, утратил свое временное значение и стал дублетом личного местоимения» (с. 70). В результате *л*-форма синтезировала различные временные, видовые и модальные грамматические значения, обретя способность функционировать как в абсолютном, так и в относительном употреблении.

Наиболее спорным в рецензируемой книге является, на наш взгляд, раздел, посвященный истории I сложного будущего. Справедливо возражая против попыток бесосновательной архаизации позднейших грамматических явлений, С. П. Лопушанская, однако, приводит три контекста, содержащие формы типа *буду* и инфинитив, и расценивает их как древнейшие примеры сложного будущего с глаголом *быти*, отмечая: «... теперь можно с уверенностью утверждать, что восточнославянской книжной традиции бы-

вопреки сложившейся практике, не изолировано, а комплексно — в силу единства их знаменательной части. По наблюдениям исследователя, древнерусские памятники не подтверждают регулярной противопоставленности вспомогательных глаголов: «даже письменная традиция не могла последовательно отразить временные и модальные различия» форм *быхъ*, *бяхъ*, *есмь* и *буду* «в сочетании с *л*-формой, которая сама с помощью контекстуальных средств приобретала способность передавать все необходимые оттенки реальных и возможных прошедших действий» (с. 68). Строгая оппозиция прошедших /непрошедших и реальных /ирреальных действий, иллюстрируемая схемой:

ли свойственны подобные аналитические формы будущего времени, тогда как в старославянских памятниках они отсутствуют» (с. 74). К сожалению, ни один из этих примеров не подтверждает вывода автора. Так, конструкция из «Русской Правды»: *Аже боудууть въ домоу дѣти малы. а нед(у)жи ся боудууть сами собою печаловати* (РПр сп. 1280, 626а) — содержит не глагольное сказуемое *будууть печаловатися*, а составное именное сказуемое *будууть недужи*, к которому инфинитив *печаловатися* примыкает в качестве обстоятельства (*и будут неспособны сами о себе заботиться*). Более основательного анализа требует другой фрагмент, зафиксированный в «Изборниках» 1073 и 1076 гг.: *(Бог) отъ всякого мѣста. молитвы его послушаетъ о усърдиемъ внимая. и аще и мѣсто боуде мнѣти не пользно* (Изб. 1076, 232–232об.). Предложенная С. П. Лопушанской трактовка сочетания *буде мнѣти* как будет считаться основывается на искажении залогового статуса инфинитивной формы: в том случае, если бы глагол выражал значение считаться, он несомненно выступал бы в виде *мнѣтися*. Сравнение с греческим оригиналом *ἐνωτίζετα διαθεσει προσέχων, καὶ τὸ χωρίον ἵκατὶ τὸ δοκοῦν ἀδιάφορον* — там же, с. 798) показывает, что в данном случае *буде* является простым сказуемым, соответствующим конъюнктивной форме *ἦ* «будет, окажется».

а мъѣсти служит для перевода обстоя-  
тельственного сочетания *ката то доховъ*  
(букв. 'по мнению'). Третий пример, из  
«Успенского сборника» (*Иисусъ придетъ*  
*въ годъ. егда боудеть соудити миру*  
*правдою. сему бо дастъ оцъ соудъ 264а*),  
демонстрирует, как мы полагаем, обыч-  
ное для древнеславянских памятников  
сочетание безлично употребленного гла-  
гола *быти* в 3-м лице ед. ч. с инфинити-  
вом в значении 'придется, случится', в  
данном контексте: '...когда придет срок  
судить'. В переводе С. П. Лопушанской  
для подтверждения ошибочной трактовки  
пришлось вставить между главным и  
придаточным предложениями союз *и* и  
перосмыслить союз *егда* как 'тогда'  
(с. 74–75).

Заключительная часть книги, посвя-  
щенная функционированию временных  
форм в древнерусском тексте, отличается  
тонким анализом семантических оттен-  
ков, зачастую едва уловимых. С целью  
разграничить семантическое словообразо-  
вание и деривационные семантические  
изменения автор вводит понятие «семе-  
нтическая модуляция», обозначающее  
«процесс перегруппировки разноуровне-  
вых признаков в семантической структу-  
ре слова при сохранении лексиче-  
ской категориальной семьи»  
(с. 80). В качестве примера модуляцион-  
ного переноса значения можно привести,  
в частности, глагол *ходити* в контексте:  
*и рыбы морьскыя... и всьа ходящая по*  
*ствязямъ морьскимъ* (КЕ XII, 1856),—  
где нейтрализуются дифференциальные  
признаки «движения с помощью ног»,  
«движения по твердой поверхности», но  
актуализируются семьи «перемещения в  
воде», «с помощью плавников». Ограни-  
ченный объем рецензии не позволяет,  
к сожалению, более подробно показать,  
с какой глубиной проникновения в древ-  
ний текст С. П. Лопушанская исследует  
глагольные формы в «Слове о полку Иго-  
реве», «Уставе Святослава Ольговича». Очевидно, однако, что комплексный ана-  
лиз грамматических форм и семантиче-  
ских отношений имеет огромное значение  
для складывающейся на наших глазах  
новой отрасли исторического языкозна-  
ния — лингвистики древнерусского тек-  
ста.

В целом работа С. П. Лопушанской  
должна быть оценена как новаторская и

чрезвычайно перспективная. Ориенти-  
рованная в своем нынешнем виде прежде  
всего на студентов, привыкших *jugare in*  
*verba magistri*, рецензируемая книга за-  
служивает, по нашему мнению, суще-  
ственного расширения — главным образом  
за счет добавления иллюстративного ма-  
териала, который был обильно представ-  
лен в предшествующих публикациях ав-  
тора (см., например, [3: 4]), но в настоя-  
щем издании столь ограничен, что ино-  
гда оставляет впечатление умозритель-  
ности отдельных построений. Хотелось  
бы пожелать также, чтобы в исследова-  
нии, посвященном древнерусскому язы-  
ку, больше внимания уделялось собствен-  
но восточнославянским памятникам,  
в первую очередь грамотам: едва ли ци-  
таты из южнославянского по происхож-  
дению «Изборника» 1073 г. и из сочине-  
ния Иоанна Экзарха Болгарского (по  
«Успенскому сборнику», с. 74) можно ис-  
пользовать как доказательство наличия  
того или иного явления у восточных сла-  
вян, особенно при отсутствии аналогич-  
ных древнерусских примеров. Нуждается  
в унификации система условных сокра-  
щений источников: так, Синодальный  
список Новгородской I летописи фигури-  
рует в пособии как НЛС (с. 53), НС  
(с. 76), Новг. I лет. (с. 93). Учитывая,  
что автор рассматривает закономерности  
развития временной системы «от условно  
реконструируемого состояния в позд-  
нем праславянском языке» (с. 108;  
разрядка наша), следовало бы, думается,  
упростить подачу праславянских приме-  
ров, которые нередко производят впечат-  
ление чрезмерно архаизированных или  
«ахронических» (ср. \*tǫrjǫm — с. 25,  
\*přisāchъ — с. 46). В свете последних раз-  
мыслений А. А. Зализняка (ср. [5]) вызы-  
вает возражение квалификация формы  
дательного падежа ед. ч. жен. рода  
*святѣи* как церковнославянской (с. 104).

Все эти замечания возвращают нас к  
мысли, высказанной в начале рецензии:  
глубокое, оригинальное исследование  
С. П. Лопушанской по замыслу своему  
слишком обширно для узких рамок  
«учебного пособия» и потому непременно  
должно быть издано в виде фунда-  
ментальной монографии, богатой и идеа-  
ми, и материалом.

Крысько В. В.

## ИСТОЧНИКИ

Изб 1076 – Изборник 1076 года. М., 1965.

КЕ XII – Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906.

РПр сп. 1280 – Карский Е. Ф. Русская правда по древнейшему списку. Л., 1930.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.
2. Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. М., 1953, с. 215.
3. Лопушанская С. П. Очерки по истории глагольного формообразования в русском языке. Казань, 1967.
4. Лопушанская С. П. Основные тенденции эволюции простых претеритов в древнерусском книжном языке. Казань, 1975.
5. Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986, с. 142.





## ЗАМЕТКИ О КНИГАХ

**НИКИТА ИВАНОВИЧ ГОРБАЧЕВСКИЙ.** Составитель Л. Л. Толкачева. Минск, 1991, 103 с. (История книжной культуры Подляшья)

Данное издание выпущено Лабораторией изучения духовной культуры Подляшья им. М. К. Бобровского и Государственной библиотекой Республики Беларусь в рамках реализации Международной славяноведческой программы «История книжной культуры Подляшья». Открывает его краткое вступление (с. 6–9), посвященное преимущественно задачам программы, нацеленной на изучение такого уникального исторического заповедника славянской книжной культуры, прежде всего ее кирилло-мефодиевской традиции, каковым является Подляшье. Программа (ее общее руководство осуществляют Лаборатория изучения духовной культуры Подляшья, Научный центр общеславянских исследований, Институт славяноведения и балканистики РАН при участии Государственной библиотеки Республики Беларусь, Белостокского научного общества Польской АН, Белорусского фонда культуры) предусматривает создание оригинального семитомного издания энциклопедического типа, включающего практически исчерпывающую информацию обо всех сторонах культурного процесса в Подляшье, связанного с рукописной и печатной книжностью на церковнославянском, древнерусском, старобелорусском и старорукраинском, белорусском, украинском, русском, польском, латинском и литовском языках.

Для успешной работы над Программой, по единодушному мнению ее участников, возникла необходимость издания серии вспомогательных пособий. Рассматриваемая книга является первым выпуском серии. Второй ее выпуск решено посвятить вопросам отображения православной

культуры в польской послевоенной печати (до 1990 г. включительно); третий – исторической картографии Подляшья.

В статье «Создатель белорусской научной архивистики» (с. 10–15) отражены основные вехи биографии и научной деятельности создателя и бессменного руководителя Центрального архива древних актов книг губерний: Виленской, Гродненской, Минской и Ковенской. Статью сопровождают списки печатных трудов Н. И. Горбачевского (с. 19–20) и литературы о нем (с. 21–22).

Основной объем издания занимает фотопроизведение поистине уникального и давно ставшего редкостью справочного пособия, созданного Н. И. Горбачевским, – «Краткие таблицы, необходимые для всякого рода археологических исследований и в частности для разбора древних актов и грамот западного края России и Царства Польского» (Вильно, 1867) (с. 25–101). Характеризуя «Краткие таблицы...» (с. 16–17), составитель выпуска Л. Л. Толкачева подчеркивает, что «древние документы были датированы неделями и днями от Пасхи и других подвижных праздников как по старому, так и по новому стилю. Это вызывает при датировке необходимость сложных математических и астрономических расчетов, что отнимает много времени... Составленные Н. И. Горбачевским... таблицы позволяют достаточно наглядно и быстро определять все необходимые данные» (с. 16) и потому являются незаменимым подспорьем при изучении документов, связанных с историей Великого княжества Литовского и Польши.

*Васильев М. А.*



## МЕЖРЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ БОЛГАРИСТОВ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вопрос об объединении творческих усилий, интеллектуального потенциала болгаристов для всестороннего исследования истории, культуры и языка болгарского народа поднимался неоднократно на протяжении последнего десятилетия. Однако в практическую плоскость обсуждение этой идеи перешло лишь в ходе подготовки ко 2-й Всесоюзной конференции по болгаристике (Вторым Дриновским чтениям), состоявшейся в Харькове 5–7 февраля 1991 г.

Стимулирующее воздействие на активизацию усилий группы ученых по созданию общественного объединения исследователей-болгаристов, помимо очевидной научной целесообразности, оказали бурные политические события в Болгарии и СССР на рубеже 80–90-х годов, имевшие противоречивое влияние на процесс, содержание и объем советско-болгарского научного сотрудничества. С одной стороны, постепенное преодоление идеологической заданности, отказ от догм и стереотипов, опоры на ложно понятые государственные интересы и интересы так называемого «социалистического содружества», цитатничества и обязательной приверженности одной теории в совокупности с несколько расширившимся доступом исследователей к некогда закрытым наглухо архивам и перспективой их широкого предоставления ученым создали новые возможности для развития всех отраслей болгаристики. Позитивным фактором двусторонних научных контактов стало учреждение в Москве Болгарского культурно-информационного центра, который организовал несколько плодотворных встреч советских и болгарских

ученых и намерен продолжать эту деятельность впредь. Однако, с другой стороны, ряд причин – глубокий экономический кризис, который переживают Болгария и республики, ранее входившие в СССР, непродуманные решения о подписке на советскую прессу (в том числе научную периодику) за рубежом исключительно за СКВ, повлекшие за собой ответные меры болгарской стороны, неопределенная ситуация с билетами на поезда, следующими за границу, и т. д. – привели к резкому сужению обмена научной и политической информацией. К минимуму сведено количество советских исследователей, имеющих возможность совершить командировку в Болгарию или даже поездку с творческими целями за свой счет. В 80-е годы остроту этой проблемы в какой-то степени смягчала деятельность Центра болгаристики Болгарской академии наук; теперь же, видимо, его финансовые возможности не позволяют в прежних масштабах и формах поощрять исследования иностранных ученых в области болгаристики.

В особенно неблагоприятном положении оказались ученые-болгаристы, работающие в университетах и других высших учебных заведениях бывшего СССР, не имеющих прямых договоров о сотрудничестве с болгарскими партнерами, а также начинающие исследователи, аспиранты. Они оказались фактически отрезанными от болгарских архивов, библиотек и музеев, без чего серьезных научных результатов ожидать не приходится. Еще более усугубил эту проблему процесс дезинтеграции Советского Союза: прежние союзные структуры, занимав-

шие организацией научного обмена, резко сократили или вовсе свернули свою деятельность, а квоты соответствующих республиканских учреждений и организаций пока весьма ограничены.

В совокупности все эти обстоятельства вызвали настоятельную необходимость создания Межреспубликанской научной ассоциации болгаристов (МНАБ), учредительная конференция которой проходила 7 февраля 1991 г. в Харьковском университете. Согласно принятому на конференции уставу, деятельность ассоциации нацелена на решение следующих задач: разработка приоритетных направлений болгаристики; координация научно-исследовательской деятельности и концентрация усилий на приоритетных направлениях; проведение конференций, симпозиумов, семинаров, чтений, «круглых столов» по актуальным проблемам болгаристики; организация и проведение конкурсов на лучшее монографическое исследование и конкурсов студенческих научных работ в области болгаристики; содействие командированию в Болгарию членов ассоциации, в первую очередь, молодых и работающих на периферии; популяризация болгарской истории и культуры, в том числе путем перевода и издания наиболее значительных и оригинальных работ болгарских и других зарубежных авторов; помощь членам ассоциации в овладении болгарским языком и совершенствовании навыков его использования; установление прямых контактов с Центром болгаристики БАН и другими научными организациями Болгарии, общественными и культурно-просветительными организациями болгарской диаспоры, а также ассоциациями болгаристов в третьих странах, международными комитетами славистов и балканистов.

Организационно МНАБ, координационный центр которой находится в Харькове, состоит из четырех республиканских организаций – Беларуси, Молдовы, России и Украины; они, в свою очередь, могут иметь и региональные отделения. В рамках Российской, например, создано Санкт-Петербургское отделение, которое разработало автономную программу деятельности на ближайшую перспективу. Среди ее приоритетов – описание южнославянских кириллических рукописей

XI–XVII вв., хранящихся в Санкт-Петербурге; проведение исследований в области каталогизации имеющихся коллекций болгарских исторических, художественных и этнографических памятников из фондов местных музеев; комплектование выставок из запасников Государственного Эрмитажа, Государственного музея этнографии народов СССР, Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого и других, а также проведение экспедиционно-собирательской работы для пополнения существующих музейных собраний. Одновременно разворачивается процесс оформления Поволжского, Северо-Кавказского и Уральского отделений с центрами соответственно в Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге.

Принятая структура отнюдь не закрывает доступ в ассоциацию болгаристам из других республик, которые через правление могут оформить свое членство в МНАБ индивидуально. Условия приема весьма демократичны: членами ассоциации могут быть специалисты, ведущие исследовательскую работу в области болгаристики, имеющие научные труды в этой области, уплатившие вступительный (10 руб.) и членский (12 руб. ежегодно) взносы. Разумеется, этих денег едва ли хватило бы даже на регистрацию МНАБ в Министерстве юстиции СССР (состоялась 25 сентября 1991 г.). Начало ее деятельности стало возможным в значительной степени благодаря фирме «Селена» Фонда народной дипломатии, с которой 10 октября 1991 г. ассоциацией подписан «Договор о взаимоотношениях» сроком до 2001 г. Фирма «Селена» не только взяла на себя расходы на заработную плату небольшого административного персонала (главный организатор, референт, главный бухгалтер), но и на издание «Болгарского ежегодника», первый выпуск которого должен выйти в 1993 г., на проведение научных конференций, конкурсов студенческих научных работ и т. д.

Правление МНАБ, избранное на учредительной конференции, состоит из председателя, четырех заместителей председателя от каждой республиканской организации, ученого секретаря, казначая, двух руководителей фирмы-спонсора «Селена» и руководителей семи секций: археологии, истории, культурологии, литературоведения и искусствоведения;

фольклора и этнографии; языкознания; политологии и других общественных наук; болгарской диаспоры.

Последнее расширенное заседание правления состоялось 16 сентября 1991 г. На нем был утвержден состав редколлегии «Болгарского ежегодника» (главным редактором избран проф. В. И. Кадеев, зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков Харьковского университета), намечены основные мероприятия на 1992–1994 гг. Таковыми станут научные конференции, посвященные Дню славянской письменности, болгарского просвещения и культуры (Тверь, май 1992 г.), проблемам истории и культуры болгарской диаспоры (Кишинев, сентябрь 1992 г.), симпозиум «Антитоталитарные

движения в странах Восточной Европы», посвященный 120-летию со дня рождения Христиана Раковского (Харьков, сентябрь 1993 г.), а также Третьи Дриновские чтения (Харьков, октябрь 1994 г.), которые будут совмещены по времени со второй конференцией МНАБ. Кроме того, болгаристам Львовского университета поручено разработать положение о конкурсе студенческих научных работ на соискание премии им. М. Дринова.

Юридический адрес МНАБ: 310077, Украина, Харьков, площадь Свободы, 4, Харьковский университет, правление МНАБ.

Расчетный счет № 100345057 МФО 351447 в Харьковинкомбанке.

*Чернявкий Г. И., Страшнюк С. Ю.*

## ОДЕССКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ В. И. ГРИГОРОВИЧА

Кафедра общего и славянского языкознания ОГУ выступила инициатором и организатором научной конференции в честь 175-летия со дня рождения известного русского слависта Виктора Ивановича Григоровича (1815–1876), которая состоялась в Одессе 18–19 октября 1991 г.

В ней предполагалось участие около 40 ученых Украины, России, Болгарии и других стран, но сложная национально-политическая и финансовая ситуация не позволила приехать всем приглашенным специалистам, опубликовавшим тезисы своих докладов в сборнике «Профессор Виктор Иванович Григорович. Тезисы докладов областных научных чтений, посвященных 175-летию со дня рождения ученого-слависта» (Одесса, 1991). В результате с докладами выступили только 15 человек.

Конференцию в актовом зале университета в присутствии студентов открыла декан филологического факультета ОГУ, профессор Н. М. Шляхова, которая подчеркнула патристический характер деятельности В. И. Григоровича. На пленарном заседании выступил также доцент В. Ф. Шишов (ОГУ), осветивший основные вехи научной биографии В. И. Гри-

горовича и подчеркнувший значение трудов ученого по разным отраслям славяноведения для науки прошлого столетия и современности. Особо он остановился на последних 12 годах жизни исследователя, связанных с преподаванием в Новороссийском университете. Доцент А. К. Смольская (ОГУ) в докладе «Книжный фонд В. И. Григоровича в библиотеке ОГУ» рассказала об истории и составе книжного дара ученого вновь основанному университету в Одессе, представляющего собой ценные пособия по всем отраслям славистики из всех славянских стран, относящиеся к XVII–XIX вв. В настоящее время фонд насчитывает 701 сочинение. Завершил пленарное заседание доклад профессора Л. П. Лаптевой (МГУ) «Связи В. И. Григоровича с чешскими учеными XIX в.», в котором освещались актуальные проблемы славистики 40–50-х годов XIX в., ставшие предметом переписки (до сих пор не опубликованной) русского ученого с ведущим пражским славистом П. Й. Шафариком.

В секционных заседаниях выступили 12 человек. Тематически можно выделить несколько направлений докладов.

Доклады, посвященные *отдельным моментам научной биографии* В. И. Григоровича. Всеобщий интерес вызвало, например, сообщение В. К. Чернецкого (Кировоград) о последнем годе жизни ученого в Елизаветграде (где он поселился после отставки, покинув Новороссийский университет в 1876 г.), о его обширных планах краеведческого изучения Новороссии, о кончине ученого и истории сооружения ему памятника на народные деньги в ограде Петропавловской церкви.

Доклады, посвященные *отдельным научным мероприятиям* В. И. Григоровича и характеристике его научных трудов. В докладе М. Ю. Досталь (Москва) рассматривались тенденции романтизма в ранних (начала 1840-х годов) трудах В. И. Григоровича по истории славянских литератур. Два доклада были посвящены периоду командировки ученого в славянские земли. О ее научном значении в целом говорилось в докладе Е. А. Войцевой (ОГУ), К. Л. Динчев (Благоевград, Болгария) проанализировал один из самых значительных научных трудов В. И. Григоровича «Опыт путешествия по Европейской Турции» (1848) с точки зрения изучения последним болгарской проблематики: диалектов, фольклора, древних рукописей и т. д. В. А. Вересаев (ОГУ) сделал содержательный, хотя и не бесспорный анализ работ Григоровича по славянской мифологии и фольклору.

Доклады, посвященные *отдельным направлениям научных исследований* В. И. Григоровича в свете актуальных проблем современной славянской филологии. В этой связи анализ древних славянских текстов был дан в докладах Ф. П. Сергеева (ОГУ) «К характеристике обозначения договоров русских с греками X в.», Н. В. Коссек (Москва) «О чем говорят „описки“ древних переписчиков

славянских рукописей», Д. С. Ищенко (ОГУ) «В. И. Григорович и сербская рукописная традиция поучений Феодора Студита», Н. В. Убийвовк (Тирасполь) «Языковые особенности древнерусской рукописи из собрания синодальной типографии № 13 ЦГАДА». Вопросам ономастики и гидронимии были посвящены доклады Ю. А. Карпенко (ОГУ) «В. И. Григорович – зачинатель ономастических исследований в Новороссийском университете» и Л. П. Зеленко (ОГУ) «Процесс вхождения иноязычных гидронимов в славянскую гидронимическую систему». М. С. Горе (Измаил) прочитала доклад «От традиций к современным задачам изучения лексических систем болгарских диалектов Бессарабии», рассказав о сложной, драматической судьбе носителей болгарских диалектов на территории бывшего СССР в прошлом и настоящем.

По докладам состоялась дискуссия, в ходе которой было выражено общее мнение, что данная конференция выявила ряд новых аспектов в изучении научного творчества В. И. Григоровича (например, фольклористика, диалектология, ономастика и пр.), внося тем самым вклад в увековечивание памяти одного из зачинателей славяноведения в России. Новые идеи прозвучали и в оценке традиционно рассматриваемых направлений научной деятельности ученого (изучение древних рукописей, литературоведение и др.). Было решено сделать Чтения памяти В. И. Григоровича регулярными и проводить их раз в два года на базе ОГУ с привлечением более широкого круга славистов не только бывшего СССР, но прежде всего самого Одесского университета (имелось в виду участие литературоведов и историков-славистов).

Досталь М. Ю.

## CONTENTS

Theatre and Theatricality (Symposium) . . . . .	3
ARTICLES	
<i>Gibianskiy L. J.</i> Toward the History of the Soviet-Jugoslavian Conflict of 1948-1953. The Secret Soviet-Jugoslavian-Bulgarian meeting in Moscow on the 10th of February, 1948 . . . . .	35
<i>Terechov V. P.</i> The Policy of the Czechoslovakian National-Socialist Party on the Initial Stage of the National-Democratic Revolution (1945, May - 1946, May) . . . . .	52
<i>Kossek N. V.</i> On «Slips» of the Pen of Ancient Copyists of the Gospels . . . . .	64
The Textbook on the Russian Church Slavic Language . . . . .	71
<i>Tolstoj N. I.</i> Toward the Publication of the New Lessons in the Russian Church Slavic Language . . . . .	72
<i>Sedakova O. A.</i> Introduction . . . . .	76
<i>Kravecij A. G.</i> The Problems of Studying and Teaching . . . . .	84
COMMUNICATIONS	
<i>Anikin A. E.</i> On the Slavic Denomination of Birds (Bulg. dial. <i>догулице</i> ) . . . . .	91
<i>Kishkin L. S. M. I.</i> Gorlenko-Dolina as a Propagandist of the Russian music in Czechia and of the Czech Music in Russia (a Forgotten Page of the History of the Russian-Czech Cultural Relations) . . . . .	94
<i>Grimstad Knut</i> (Norway). Slavic Studies Between the Fiords . . . . .	101
REVIEW ARTICLES AND REVIEWS	
<i>Sofronova L. A., Lapteva L. P.</i> Two Opinions About One Book. Л. Н. Титова. Чешская культура первой половины XIX века . . . . .	111
<i>Krysko V. B. S. P.</i> Лопушанская. Развитие и функционирование древнерусского глагола . . . . .	115
NOTES OF BOOKS	
<i>Vasilyev M. A.</i> Никита Иванович Горбачевский . . . . .	120
SCIENTIFIC LIFE	
<i>Chernyavskij G. I., Strashnyuk S. J.</i> Interrepublic Scientific Association of Bulgarians: the Perspectives and the main Directions of Activities . . . . .	121
<i>Dostal M. J.</i> Conference in Memory of V. I. Grigorovich in Odessa . . . . .	123

Технический редактор *А. В. Рудницкая*

---

Сдано в набор 11.02.92	Подписано к печати 19.03.92	А-12537	Формат бумаги 70×100 <sup>3</sup> / <sub>16</sub>
Офсетная печать	Усл. печ. л. 10,4	Усл. кр.-отт. 11,0 тыс.	Уч.-изд. л. 12,1
	Тираж 1036 экз.	Зак. 2496	Бум. л. 4,0
		Цена 1 р. 20 к.	

---

Адрес редакции: 117334, Москва, Ленинский проспект, д. 32а  
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6.

# О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИХ ТЕКСТОВ В ПАМЯТИ ЭВМ

*Е.Ф. Царев*

В основе принципов отображения церковнославянского текста в память ЭВМ, необходимых для создания единого машинного фонда церковнославянского языка, заложен опыт разработки и эксплуатации автоматизированной технологии ввода и получения структурированной модели церковнославянских текстов в компьютерной памяти. Так, в центре «Мефодий» либо при его участии в компьютерную память введены синодальные тексты Нового и частично Ветхого Заветов, Молитвослова и другие суммарным объемом более двух миллионов знаков.

Выбору способа хранения церковнославянских текстов в компьютерной памяти предшествовал статистический анализ текстов, разнообразных по норме языка и, в первую очередь, текстов синодального периода. Способ кодирования и упорядочения церковнославянских слов согласуется с компьютерным представлением русских слов, что делает возможной параллельную разработку инструментальных средств для изучения русского и церковнославянского языка.

Описанный формат, являясь, по существу, внутренним форматом хранения данных, лег в основу построения технологии ввода, редактирования и подготовки изданий, естественной для специалистов-текстологов и полиграфистов.

По мере накопления текстов в памяти ЭВМ предполагается создание качественно новых указателей к текстам, словарей перекрестных ссылок и новых редакций Симфонии к Священному Писанию.

При выборе способа хранения церковнославянских текстов в компьютерной памяти учитывалась необходимость решения следующих задач:

- 1) разработка автоматизированной технологии редактирования церковнославянских текстов и получения изданий;
- 2) разработка инструментальных (программных) средств для научного изучения церковнославянского языка с помощью компьютера.

Формат представления церковнославянского языка в памяти ЭВМ обеспечивает следующее:

- адекватное соответствие текстов и рукописей текстов текстам в машинной памяти (в том числе максимальное сохранение особенностей оригинала);
- сохранение «логической» структуры построения текстов, включая способ адресации фрагментов текста (глав, стихов и т.п.) и способ проставления сносок и отсылок;
- возможность применения математико-статистических методов анализа текста;
- возможность применения лингвистических методов исследования языка;
- создание и использование одно- и двуязычных словарей.

Таблица кодирования знаков в компьютерной памяти

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0			—	0					а	о		а	о		°	
1			!	1	Ѡ		ѡ		б	п	ю	б	п	ю	°	
2				2	Ѣ		ѣ		в	р	ѡ	в	р	ѡ	˘	˙
3				3	Ѥ		ѥ		г	с	Ѣ	г	с	Ѣ	˘	†
4				4	Ѧ		ѧ		д	т	Ѧ	д	т	Ѧ	˘	†
5				5	Ѩ		ѩ		е	з	Ѧ	е	з	Ѧ	˘	⊕
6				6	Ѭ		ѭ		ф	Ѱ		ф	Ѱ	˘	⊕	
7				7	Ѯ		ѯ		ж	х	Ѯ	ж	х	Ѯ	˘	⊕
8			(	8	Ѱ		ѱ		з	ц	Ѱ	з	ц	Ѱ	˘	⊕
9			)	9	Ѳ		ѳ		н	ч	Ѳ	н	ч	Ѳ	˘	//
A			:				○		ї	ш	о	ї	ш	о	˘	˙
B							⊙		й	щ	ω	й	щ	ω	˘	
C			,				⊙		к	з	оу	к	з	оу	˘	
D	☐		-				⊙		д	ы	ѡ	д	ы	ѡ	˘	☆
E			.				⊙		м	ь	ѡ	м	ь	ѡ	˘	˙
F			;				⊙		н	Ѣ	ѡ	н	Ѣ	ѡ	˘	˙

Алфавит церковнославянского языка в компьютерной памяти составлен на базе алфавита русского языка (конца XIX в.). Каждому элементу алфавита соответствует определенный код представления в памяти ЭВМ.

Текст при его отображении в компьютерную память представляет собой последовательность элементов, которыми являются:

- 1) буквы алфавита церковнославянского языка;
- 2) надстрочные знаки (ударения, придыхания и ерок);
- 3) выносные знаки (титло  $\bar{\text{~}}$ , буквы-титла  $\hat{\text{~}}$ ,  $\hat{\text{~}}$ ,  $\hat{\text{~}}$ ,  $\hat{\text{~}}$ ,  $\hat{\text{~}}$  и выносные буквы  $\text{ѡ}$ ,  $\text{Ѣ}$ ,  $\text{ѣ}$ ,  $\text{Ѧ}$  ...);
- 4) лигатуры, составляемые из двух или более элементов;
- 5) знаки для обозначения чисел ( $\text{˙}$ ,  $\text{˙˙}$ ,  $\text{○}$ ,  $\text{⊙}$ ,  $\text{⊙}$ ,  $\text{⊙}$ ,  $\text{⊙}$ );



- 6) знаки пунктуации, скобки, пробелы, а также специальные знаки такие, как  $\dagger$ ,  $\ddagger$ ,  $\oplus$ ,  $\uplus$ ,  $\otimes$ ,  $\oslash$ ;
- 7) некоторые буквы, выходящие за рамки церковнославянского алфавита (напр., старославянские, знаки гражданского «петровского» алфавита и т.д.), например:  
 $\mathring{A}$ ,  $\mathring{B}$ ;  $\mathring{C}$ ,  $\mathring{D}$ ;  $\mathring{E}$ ,  $\mathring{F}$ ;  $\mathring{G}$ ,  $\mathring{H}$ ;  $\mathring{I}$ ,  $\mathring{J}$ ;  $\mathring{K}$ ,  $\mathring{L}$ ;  $\mathring{M}$ ,  $\mathring{N}$ ;  $\mathring{O}$ ,  $\mathring{P}$ ;  $\mathring{Q}$ ,  $\mathring{R}$ ;  $\mathring{S}$ ,  $\mathring{T}$ ;  $\mathring{U}$ ,  $\mathring{V}$ ;  $\mathring{W}$ ,  $\mathring{X}$ ;  $\mathring{Y}$ ,  $\mathring{Z}$ ;  $\mathring{a}$ ,  $\mathring{b}$ ;  $\mathring{c}$ ,  $\mathring{d}$ ;  $\mathring{e}$ ,  $\mathring{f}$ ;  $\mathring{g}$ ,  $\mathring{h}$ ;  $\mathring{i}$ ,  $\mathring{j}$ ;  $\mathring{k}$ ,  $\mathring{l}$ ;  $\mathring{m}$ ,  $\mathring{n}$ ;  $\mathring{o}$ ,  $\mathring{p}$ ;  $\mathring{q}$ ,  $\mathring{r}$ ;  $\mathring{s}$ ,  $\mathring{t}$ ;  $\mathring{u}$ ,  $\mathring{v}$ ;  $\mathring{w}$ ,  $\mathring{x}$ ;  $\mathring{y}$ ,  $\mathring{z}$  и т.д.
- 8) некоторые специальные знаки (отсылки, идентификаторы и т.д.).

Полное описание формата представления церковнославянских текстов в памяти ЭВМ центр «Мефодий» готов предоставить всем желающим. Кроме того, центр «Мефодий» выполняет заказы на подготовку различного рода изданий на русском и церковнославянском языках, включая издания параллельных текстов.

1 р. 50 к.

Индекс 70891